ISSN 0131—0097

ОГОНЁК

№ 25 ИЮНЬ 1990



ЗЕМЛЯ У НАС ОДНА



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

ОГОНЁК

Учрежден 1 апреля 1923 года

№ 25 (3283)

16 — 23 июня

ИЗДАТЕЛЬ — ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КПСС «ПРАВДА»

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ:

Плакат Вулиса РАЛФСА.

Оформление А. А. КОВАЛЕВА при участии О. И. КОЗАК

ПОДПИСКА НА «ОГОНЕК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ДО ПЕРВОГО ЧИСЛА ПРЕДПОДПИСНОГО МЕСЯЦА.
Цена подписки на год — 20 руб. 76 коп., на полгода — 10 руб. 38 коп., на квартал — 5 руб. 19 коп.

УСЛОВИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРОКАТА, ПОДПИСКИ И ПРИОБРЕТЕНИЯ ВЫПУСКОВ «ОГОНЕК-ВИДЕО» ПО ТЕЛЕФОНУ 212-15-79.

Сдано в набор 28.05.90. Подписано к печати 12.06.90. А 09457. Формат 70×108⅛. Бумага для глубокой печати. Глубокая печать. Усл. печ. л. 7,00. Усл. кр.-отт. 17,50. Уч.-изд. л. 12,05. Тираж 4 600 000 экз. Заказ № 2340. Цена 40 копеек.

Адрес редакции: 101456, ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14.

Телефоны редакции: Для справок: 212-22-69; Отделы: Публицистики — 250-46-90; Внутренней политики и оперативного анализа — 212-15-39; Литературы — 212-63-69 и искусства — 212-22-19; Морали и писем — 212-22-69; Фото — 212-20-19; Литературных приложений — 212-22-13, 251-90-55.

Телефакс (095) 943-00-70
Телетайп 112349 «Огонек»

Рукописи объемом более двух авторских листов не рассматриваются.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

КТО ВПЕРЕДИ?

Мы накануне Российской партийной конференции, XXVIII съезда КПСС. Что ждет КПСС? Ответ на этот вопрос может дать только время. Однако сегодня отношения людей, как коммунистов, так и беспартийных, к КПСС очень различны. И об этом речь ведут социологи.

Фото Дмитрия КОРОБЕЙНИКОВА, Александра НАТРУСКИНА и Владимира ФИЛОНОВА



Всесоюзный Центр по изучению общественного мнения сообщает

На протяжении последнего года общие оценки отношения населения к партии оставались более или менее стабильными: несколько больше четверти опрошенных отмечают полное доверие, примерно треть — частичное, четверть заявляют об отсутствии доверия. При этом последний показатель (отсутствие доверия) несколько растет, видимо, за счет колеблющихся. Следует отметить, что другие социальные институты получают более высокие оценки. На протяжении прошлого года это относилось прежде всего к таким обновленным или новым институтам, как Съезд народных депутатов СССР или Верховный Совет СССР, некоторым общественным движениям. В последние месяцы сравнительно высокими стали показатели доверия населения к Вооруженным Силам. Так, на май 1990 г. оценки общественного доверия выглядели следующим образом (в процентах к числу опрошенных):

	полное доверие	частичное доверие	отсутствие доверия
Верховный Совет СССР	40,8	34,2	11,3
Совет Министров СССР	34,0	31,6	11,2
КПСС	29,5	30,0	26,1
Профсоюзы	31,9	34,7	18,7
Комсомол	10,1	20,3	39,5
Армия	61,8	15,6	10,0
КГБ	36,3	23,0	14,3
Милиция	22,2	40,0	23,5
Церковь	47,9	19,7	10,2

Значительная часть населения, как видно из материалов упомянутого февральского опроса, полагает, что за последние 2—3 года авторитет партии снизился. Ниже приводятся ответы различных групп населения на вопрос об изменении авторитета КПСС за последние годы (в процентах).

	повысился	понизился	остался таким же	затрудняюсь ответить
Всего	5,8	80,5	7,8	5,6
Руководители предприятий	4,5	95,5	0,0	0,0
Специалисты техн. профиля	7,2	82,4	9,5	1,0
Специалисты гуман. профиля	1,5	96,4	1,2	0,0
Служащие	8,5	77,7	8,0	5,8
Квалиф. рабочие	5,0	80,3	8,4	6,3
Разнорабочие	2,5	73,1	13,1	11,3
Пенсионеры	5,9	79,0	6,1	9,0
Члены КПСС	2,1	88,7	7,7	1,5
Члены ВЛКСМ	9,9	74,9	7,3	6,2

Ответы на вопрос «Какие силы в партии оказывают сейчас наибольшее влияние на жизнь страны?» распределились следующим образом: 18,4% указали Политбюро, 15,3 — ЦК КПСС, 5,6 — горкомы, обкомы, 9,3 — группы в руководстве партии, 5,3 — рядовые коммунисты, 34,3 — считают, что «партия сейчас не оказывает большого влияния на жизнь страны», 21,0 — затрудняются ответить. С мнением самой крупной группы опрошенных согласны 47,2% коммунистов (кстати, 44,6 — из подписчиков «Правды» и 30,3 — подписчиков «Коммуниста»), 68,9% работников партийных и советских органов.

Интересными оказались суждения представителей различных групп населения о том, когда партия пользовалась наибольшим авторитетом. Оказалось, что, по мнению 39,0% опрошенных, такими были годы революции и гражданской войны, 24,7 — указали период Отечественной войны, 18,4 — годы первых пятилеток, 12,5% — дореволюционную эпоху. Другие исторические периоды отмечались довольно редко: нэп упомянули 3,5%, хрущевскую оттепель — 3, период застоя — 3,9, годы перестройки — 2,5; только 1,9% считают, что партия пользовалась высоким авторитетом все семьдесят два года Советской власти. При этом молодые люди относительно чаще указывали годы революции, а пожилые — годы войны. Из членов КПСС 31% назвали время революции как время наибольшего авторитета партии, 27,3 — военное время, однако 27,9% не смогли ответить на вопрос. Таким образом, общественное мнение связывает высокий авторитет партии с отдаленными периодами, которые у многих окружены ореолом революционно-патриотического романтизма; более прозаические и более близкие периоды выглядят в ином свете.

Проблема ответственности партии за ошибки в руководстве страной широко и остро обсуждается в обществе. С мнением о том, что «ошибки партии затормозили развитие страны», полностью согласны 57,6% населения, отчасти согласны 31,5, не согласны всего 5,5, затрудняются ответить 5,3%. Наиболее критично настроены молодые люди, жители столичных городов, специалисты, квалифицированные рабочие. Так, из числа специалистов с высшим образованием «полностью согласны» с названным утверждением 61%, из жителей Москвы и Ленинграда — 65,1, из квалифицированных рабочих — 63,2%. Несколько реже соглашаются с ним пенсионеры (45,5%), разнорабочие (36,9%), сельские жители (52,9%). Из членов КПСС согласны 61,7%, из комсомольцев — 60,2, из работников партгосаппарата — 85,3%.

В то же время большинство населения не приемлет суждений о том, что партия «все время вела страну по неверному пути»: с этим мнением согласны полностью только 17,5% (из членов партии 10,4%), частично — 43,1, не согласны 31,9, затрудняются с ответом 7,2%. Чаще всего заявляют свое несогласие по данной позиции члены партии, сельские жители.

25,4% респондентов считают, что без КПСС наша страна не стала бы великой державой, еще 36,4% отчасти согласны с этим, 25,7 — не согласны. Наиболее высокий уровень согласия — у сельских жителей, менее образованных людей; напротив, несогласие чаще всего (42,6%) демонстрируют жители Москвы и Ленинграда. Роль партии в современных условиях характеризуется таким распределением мнений:

— партия ведет общество по пути демократических преобразований	**11,2%**
— партия поддерживает инициативу демократически настроенных слоев общества	**8,7%**
— партия уравновешивает крайние позиции консерваторов и радикалов	**4,8%**
— партия тормозит процесс демократических преобразований	**13,8%**
— партия утратила инициативу, допускает бесконтрольное развитие событий	**49,0%**
— затрудняюсь ответить	**12,7%**

Чаще других отмечают, что партия тормозит развитие демократии, молодые люди (17—18%), специалисты с высшим образованием (21,5%), руководители предприятий (20,5%). С мнением об утрате партией инициативы согласны более половины граждан 50—59 лет, 57,1% членов КПСС, 76,7% работников партсовaппарата. Представление о том, что партия ведет общество, в наибольшей мере сохраняют специалисты со средним профтехобразованием (15%), подписчики «Правды» (15,2%), «Коммуниста» (14,1%), члены КПСС (13,8%), колхозники (27,9%).

С тем, что партия является реальной объединяющей силой общества, согласны сегодня полностью 20,5%, отчасти согласны 37,3, не согласны 33,9%

(8,0 — затрудняются ответить). При этом из числа руководителей предприятий полностью согласны 27,3%, отчасти — 36,4, не согласны 29,5%; из специалистов — соответственно 14,4%, 42,2, 38,2%; из квалифицированных рабочих — 19,2%, 35,5, 36,8%; из пенсионеров — 31,6%, 30,1, 27,4%. Из числа опрошенных членов партии полностью согласны с приведенным суждением 30,1%, отчасти — 46,3, не согласны 16,3%.

Внутреннее положение в партии давно перестало быть «внутренним делом» партии — оно вызывает пристальное внимание всего народа. Картина полученных нами мнений выглядит следующим образом.

	партия сохраняет идейное и организационное единство	в партии намечается идейный и организационный раскол	партия исчерпала себя, ей угрожает распад
Всего	**11,0**	**40,1**	**33,5**
Руководители предприятий	**6,8**	**43,2**	**43,2**
Специалисты техн. профиля	**14,4**	**47,1**	**27,1**
Специалисты гуман. профиля	**7,8**	**56,3**	**25,6**
Квалиф. рабоч.	**10,8**	**37,0**	**37,5**
Военнослужащие	**7,1**	**39,3**	**50,0**
Пенсионеры	**14,9**	**31,4**	**32,4**
Члены КПСС	**16,0**	**57,1**	**20,6**

Высказываемое мнение относительно необходимости распустить партию не получает в обществе значительной поддержки: с ним согласны только 20,5% опрошенных (35,9% — в возрасте 55—59 лет, из специалистов и рабочих — примерно четверть, из членов партии — 10,4%). Не согласны в среднем по стране 52,4%, в том числе среди руководителей предприятий — 61,4, специалистов гуманитарного профиля — 61,1, квалифицированных рабочих — 45,2, членов партии — 75,8%.

Преобладающая часть общества соглашается с тем, что доверие к партии может и должно быть восстановлено. При этом обнаруживается довольно широкий разброс точек зрения. В целом позиции выглядят так:

1. Очищение рядов КПСС		**37,1**
2. Укрепление внутрипартийной дисциплины		**20,1**
3. Полная гласность партийных съездов и пленумов, открытие партийных архивов		**22,2**
4. Признание возможности существования внутри партии различных политических платформ		**8,7**
5. Открытое признание со стороны КПСС возможности других политических движений и объединений в обществе	*	**17,6**
6. Доверие к КПСС восстановить уже нельзя		**12,3**
7. Я никогда не терял доверия к КПСС		**8,4**

Чем различается положение коммунистов и беспартийных в трудовых коллективах? На этот вопрос 37,5% опрошенных отвечают, что серьезных различий нет. Чаще всего такой ответ дают члены партии (61%), руководители предприятий, работники аппарата, специалисты-гуманитарии, с ним согласны и 43,8% разнорабочих. 12,1% полагают, что «с коммунистов больше спроса». С этой точкой зрения в большей мере соглашаются военнослужащие, члены партии. Только 3,1% считают, что коммунисты больше работают; из членов КПСС так думают 7,1% (из подписчиков журнала «Коммунист» — 9,2%). Значительно больше — согласны с тем, что «у коммунистов больше возможностей для продвижения на высокие должности»,— в целом их ровно одна треть (33,3%), хотя из числа членов партии с ними согласны не более 12,6%. По мнению 26,1%, у коммунистов «больше льгот и привилегий», так считают более трети людей в возрасте 55—59 лет, около трети рабочих, 30% не участвующих в политических организациях. Это мнение (с ним соглашаются только 7,7% членов партии) — одно из выражений довольно широко распространенных в сегодняшнем обществе представлений о коррупции. Согласно данным, полученным в одном из последних исследований ВЦИОМ, значительная часть населения (38,1%) считает, что партийное и государственное руководство получает «незаслуженно много», а 34% опрошенных (в марте 1990 г.) склонно считать партийно-государственный аппарат «мафией». Надеемся, нет нужды пояснять, что человеческие мнения всегда субъективны, всегда испытывают влияние иллюзий, заблуждений, настроений. Но если они достаточно распространены и устойчивы, можно полагать, что такие мнения в той или иной мере выражают некоторые важные для понимания общественные явления и тенденции.

В последние месяцы в связи с трудным пересмотром взглядов на роль и место партии в обществе в различных дискуссиях поднимается вопрос о функциях партийных комитетов на предприятиях. 37% опрошенных полагают, что эти комитеты проводят решения вышестоящих партийных органов (среди членов партии — 52,8%) и 39,3% защищают интересы администрации предприятий; так, в частности, думает около половины рабочих. Всего 5,8% верят, что парткомы «выражают волю рядовых членов партии» (из коммунистов — 9,8), одна пятая опрошенных не отвечает на этот вопрос. Относительно более крупная часть населения не считает нужными партийные комитеты на предприятиях и в учреждениях (42,1% против 38,4% при 17,8% затрудняющихся с ответом). Противников деятельности парткомов на предприятиях больше половины среди жителей Москвы, Ленинграда, поселков городского типа. Наиболее решительно выступают в пользу сохранения парткомов члены партии (63,8%), работники аппарата (86,4%).

Остановимся еще на одной проблеме, которая приобрела особую актуальность за последние месяцы: как должен вести себя коммунист, если он избран народным депутатом? Только 8,8% (среди коммунистов — 10,7, среди пенсионеров — 14,5%) считают, что такой коммунист должен действовать в соответствии с решениями партийных органов, 35,2% уверены, что он должен поступать «только в соответствии со своей гражданской позицией». Важно отметить, что это позиция 55,5% членов КПСС, ее разделяют более половины москвичей и ленинградцев, 79,6% работников партгосаппарата. Абсолютное же большинство «голосов» собрала третья позиция — депутат-коммунист должен «главным образом выполнять наказы своих избирателей» (58,4%), ее придерживаются более 60% военных, молодежи, рабочих, москвичей и ленинградцев и др. Среди лиц с высшим образованием отношение к такой позиции несколько более сдержанное (46,6% сторонников).

Мнение населения о том, какой будет судьба КПСС после XXVIII съезда, разделилось (опрос проходил в апреле): 7,6% полагают, что укрепится солидарность различных сил внутри партии; 17,8% считают, что в рамках партии возникнут несколько фракций различной ориентации; 27,7% опрошенных утверждают, что КПСС распадется на несколько партий, значительно отличающихся в политическом плане друг от друга; 19,9% — компартии союзных республик получат статус независимых и самостоятельных партий; 33,5% не имеют собственных взглядов на этот счет или затруднились с ответом.

Лев ГУДКОВ, Юрий ЛЕВАДА

* Вопрос задавался до февральского Пленума ЦК.



■

11 мая на встрече с коммунистами Фрунзенского района столицы Генеральный секретарь М. С. Горбачев подвел некоторые итоги выборов на XXVIII съезд КПСС. Оказывается, на первом этапе выдвижения кандидатов рабочих выдвинуто всего лишь 2—5 процентов, то есть среди делегатов на съезд рабочих практически не будет. Теперь уже со всей определенностью можно сказать, что их интересы на съезде будут представлять ректоры и директора, генералы и генеральные, начальники разных рангов. Так, на одно место в Киевском районе столицы выдвинуто 4 министра и один секретарь парткома. По Харьковской области на 59 мандатов выдвинуто административных и партийных чиновников 252 (70 процентов), рабочих и колхозников — 41 (12 процентов), других лиц (учителя, врачи и пр.) — 64 (18 процентов). По Горьковской области партруководителей выдвинуто 28 процентов, колхозников — всего 12 человек, и все они — председатели колхозов, рабочих 5 процентов.

Мне могут возразить, что Харьковская и Горьковская области непоказательны: там много интеллигенции и начальников, но возьмем пролетарский город Подольск Московской области. На 7 делегатских мандатов претендовало 5 рабочих (16 процентов) — не прошел ни один! Зато делегатами уже избраны два заместителя директора и четыре секретаря парткома, в том числе первый секретарь городского комитета партии.

Я наблюдал избирательную кампанию в Подольске как бы изнутри и сразу понял обреченность попыток коммунистов-рабочих попасть на съезд своей партии. Судите сами: в Подольске выдвижение кандидатов в цеховых парторганизациях прошло 10—12 апреля, заводские партийные конференции — 12—13 апреля, а регистрация кандидатов была прекращена 16 апреля (14—15 апреля — выходные дни). Даже в газете «Подольский рабочий» не было ни полемики претендентов, ни их критики.

Удобно ссылаться на особенности данной избирательной кампании, что съезд приближается и что сложно положение в партии. Но тем не менее следовало ли в рабочих регионах (да и не только рабочих) пороть такую горячку? Вот тут-то я и хочу спросить: кому нужна такая сумятица, спешка?

Сравните эту избирательную кампанию с той, которая проходила ровно 2 года назад,— на XIX партийную конференцию. Еще тогда создалось впечатление, что поспешность при обсуждении кандидатур была заранее спланирована. Есть различия между этими избирательными кампаниями: стало значительно меньше кандидатов-рабочих, значительно больше администраторов, еще больше партруководителей. Но есть и общее: напористость одних и пассивность других, ведь сама административная система в лице своих же представителей будет решать судьбу партии и судьбу перестройки. Правда, есть маленькая надежда, что на оставшиеся вакантные места на областных и республиканских партийных форумах будет доизбрано больше рабочих.

А. КРАВЦОВ,
инженер, член КПСС с 1963 г.

■

По моему убеждению, правительству с предложенной им экономической реформой не справиться по двум причинам.

Первая состоит в том, что это, собственно, не правительственная реформа, и оно само в нее не очень верит. Выступления Н. И. Рыжкова обнаруживают, что частной собственности и «эксплуатации человека человеком» правительство боится больше, чем развала экономики и физического вырождения нации вследствие разбойной эксплуатации среды обитания и деградации медицины. Ведь понятно, что реформа нам необходима не для «дальнейшего подъема благосостояния и т. п.», а для спасения, выхода из тяжелейшего состояния. Что для того, чтобы сам выход не обернулся катастрофой в связи с неизбежными потерями при разрушении имеющихся структур, он обязательно должен быть максимально быстрым и эффективным, чего без частной собственности и свободы предпринимательства достичь невозможно.

Вторая причина, и может быть, главная,— в дефиците доверия к правительству. Я не разделяю оптимизма тех, кто утверждает, что при наличии достаточной воли и ума реформу можно провести безболезненно для населения: не могу себе представить глубокую структурную перестройку без временного экономического спада. Именно поэтому реформу может осуществить только кабинет национального доверия. Правительство же немало потрудилось, чтобы время свое упустить и доверие потерять.

По-видимому, беспокоясь о доверии населения, Н. И. Рыжков часто заверяет, что обо всем непременно правительство будет «советоваться с народом». Но после известного тайного акта с резким повышением зарплаты государственным чиновникам и «безразмерным» повышением госпошлин, платы за услуги этих чиновников на фоне наших финансовых бед, нищенства медицины, образования эти заверения доверия к правительству не добавляют.

Подозреваю, что у шахтеров и других рабочих есть и другие основания для выдвигаемых ими претензий к правительству. А самое главное: на седьмом месяце действия правительственной программы оздоровления экономики очевидно, что она, как говорится, горит синим пламенем, и предложение Н. И. Рыжкова оценивать результаты через шесть лет, мягко говоря, неубедительно.

В. САВЧЕНКО,
доцент Ростовского университета

■

Программа правительства СССР о переходе к регулируемой рыночной экономике всколыхнула всю страну. Затянувшаяся дискуссия по этой проблеме в Верховном Совете СССР нарушила план его работы, возник ажиотажный спрос на товары первой необходимости, у людей возросла неуверенность в завтрашнем дне.

В своем заключительном слове Н. И. Рыжков констатировал, что по вопросу о переходе к рынку альтернативы нет. Да это, собственно, очевидно для всех. Прав Н. И. Рыжков и в том, что страна к этому

переходу во многом не подготовлена. А уж это целиком на совести правительства, потому что честно сказать народу о том, что его ждут нелегкие времена, как выразился премьер, следовало давно, а не ждать критической ситуации.

Чрезвычайные меры правительства состоят в отчаянной попытке сбалансировать рост доходов с товарным рынком, уменьшить дефицит бюджета. Предлагается осуществить это прежде всего реформой цен. Однако все прекрасно видят, каких фантастических масштабов достигли расточительство и бесхозяйственность, ежегодные потери от которых, по некоторым оценкам, почти равны суммарным потерям страны за все годы войны, а энергоемкость национального дохода самая высокая в мире. Так почему бы не сократить дефицит бюджета в первую очередь за счет этих потерь, предложив не повышение цен, а всенародную программу тотальной экономии ресурсов, отказа на какое-то время от всего, что не является жизненно необходимым для благополучия народа, от убыточных предприятий и разорительных проектов, от неистовой жажды во всем подражать богатым странам? Такой программы у правительства нет, может быть, именно потому, что ее осуществление потребует решительных действий. Таким образом, «претензии» к правительству по поводу его намерений осуществить переход к рынку за счет народа не лишены оснований.

Н. ЛЫЗЛОВ,
инженер

■

Итак, нас ведут к еще одному экономическому эксперименту — рыночной экономике при сохранении сверхмонополизма госсобственности. А эта сверхмонополия останется, так как около 3 триллионов рублей стоят основные фонды и никто их сейчас выкупить не сможет. Нам хотят создать рынок, которого нигде в мире не существует,— продавцы, за которыми стоит собственник-монополист, диктующий монопольные цены в условиях торга, и покупатели, то есть мы с вами.

Занимаясь экспериментами, наши идеологи от экономики игнорируют мировой опыт. Надо взять у капитализма все то положительное, что он создал, те формы собственности, которые подошли бы нам. Одна из таких форм — коллективная собственность. Она показала себя вполне жизнеспособной во всех капиталистических странах и вполне вписывается в наши представления о социализме. Но у нас она уже не может быть воссоздана путем простого выкупа — слишком долго государство грабило трудящихся, чтобы можно было выкупить все в короткий срок самими трудовыми коллективами.

Почему же мы вновь лишь декларируем равенство и многообразие форм собственности и ничего не делаем для фактического его осуществления? Решение этой и других проблем лежит на пути раскрепощения трудящихся. Действительно, большинство трудящихся находится в крепостной зависимости от собственника-работодателя, будь то министерство, совет или акционерное общество,— это не меняет сути. Социализм как формация — это, по идее, большая степень демократии везде, в том числе и в отношениях собственник (работодатель) — рядовой работник. Мы отказались от капитализма, пытаемся создать общество с большей степенью демократии, а сами не можем отказаться от основного принципа капитализма — использования наемного труда. Мы хотим строить демократию и одновременно сохранить армию наемных работников, фактически — рабов. Но эти вещи несовместимы. Попытки демократизировать общество при сохранении наемного труда — это и есть основное противоречие сегодняшнего дня. Действительно, раб, получивший немного больше свободы, но не переставший от этого быть рабом, спешит воспользоваться этой свободой для... мести. Нигилизм, неверие в прогресс, безразличие, уход в себя, неприятие ценностей цивилизации и культуры — все это широко распространилось в нашем обществе и постоянно трансформируется во взрывы преступности, национализма, экономические кризисы, потерю ориентиров в нашем историческом развитии.

Реальный путь раскрепощения трудящихся — льготные условия возврата собственности трудовым коллективам. Я не призываю к новому разделу собственности, в чем сейчас часто обвиняют рабочих, но необходим практический механизм возврата собственности. Самое естественное — оставить всю прибыль предприятию, создать льготные условия выкупа уже имеющихся фондов, создать равные условия работы для различных отраслей по уровню рентабельности, нормы прибыли и т.д., ввести эффективное налогообложение (жесткое для зарплаты, льготное для дивидендов при условии прироста прибыли, освободить от налога фонды развития и т. д.). Процесс разгосударствления собственности растянется на несколько лет, причем коллективы смогут ускорить этот процесс путем вложения личных или заемных средств. Именно этот срок, пока будет смешанное владение предприятиями (государственно-акционерное), и будет естественным сроком перехода предприятий на рельсы рыночной экономики.

Таким образом, сейчас общество стоит перед выбором — стать обществом совладельцев, свободных производителей или же продолжать бесконечные эксперименты на основе бесхозяйственности (то есть без хозяев), наемного рабского труда. И от нас зависит, станет ли лозунг «Фабрики — рабочим» реальностью или же останется лишь звонкой фразой в Платформе ЦК КПСС.

С. ОЛЕЙНИК, радиорегулировщик
ЦНПО «Ленинец»
Ленинград

■

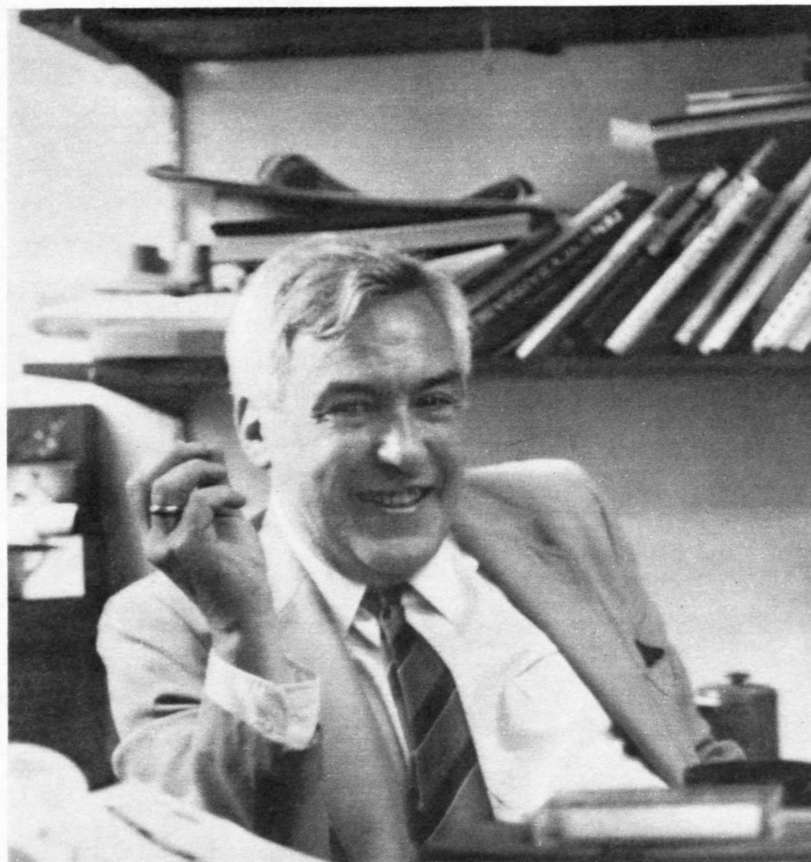
Мы много говорим об экологии, защите природы. Но пока мы говорим, ведомства, пользуясь тем, что новые органы власти только становятся на ноги, стремятся как можно больше освоить средств на строительстве экологически опасных объектов. Да, честь и хвала Моссовету, что остановил строительство Северной ТЭЦ. Но ведь независимой экспертизы требуют многие объекты. Скажем, москвичи, жители зеленой зоны, члены общества охраны природы не раз обращались в центральные органы страны, в том числе и к Н. И. Рыжкову, по поводу строительства супермагистрали Москва — Кашира. Для любого очевидно, что проектировщики просто игнорировали требования экологии, особенно на отрезке вблизи столицы. Доходит до абсурда. Рядом с Москвой, в нескольких километрах,— город Видное. Этот городок буквально нашпигован крупными промышленными предприятиями. Среди них, пожалуй, особую опасность представляет Московский коксогазовый завод.

В атмосферу предприятия выбрасывают в огромных количествах аммиак, сероводород, фенол, циан... Все это волнами идет на Москву. Почти в центре этого городка по воле проектировщиков решили прокладывать скоростную супертрассу. Поразительно! В других городах пытаются вывести дороги такого типа за пределы населенных пунктов, а тут наоборот. Более того, планируется здесь же и крупная автоWhile развязка. Срубят вековые сосны, снесут сады, хоть как-то предохраняющие Москву. И столица нашей Родины полной грудью вдохнет сероводород и аммиак, фенол и циан...

При попустительстве властей зеленая зона — легкие столицы — становится промышленной зоной.

Д. БЫЧКОВ,
ветеран войны и труда

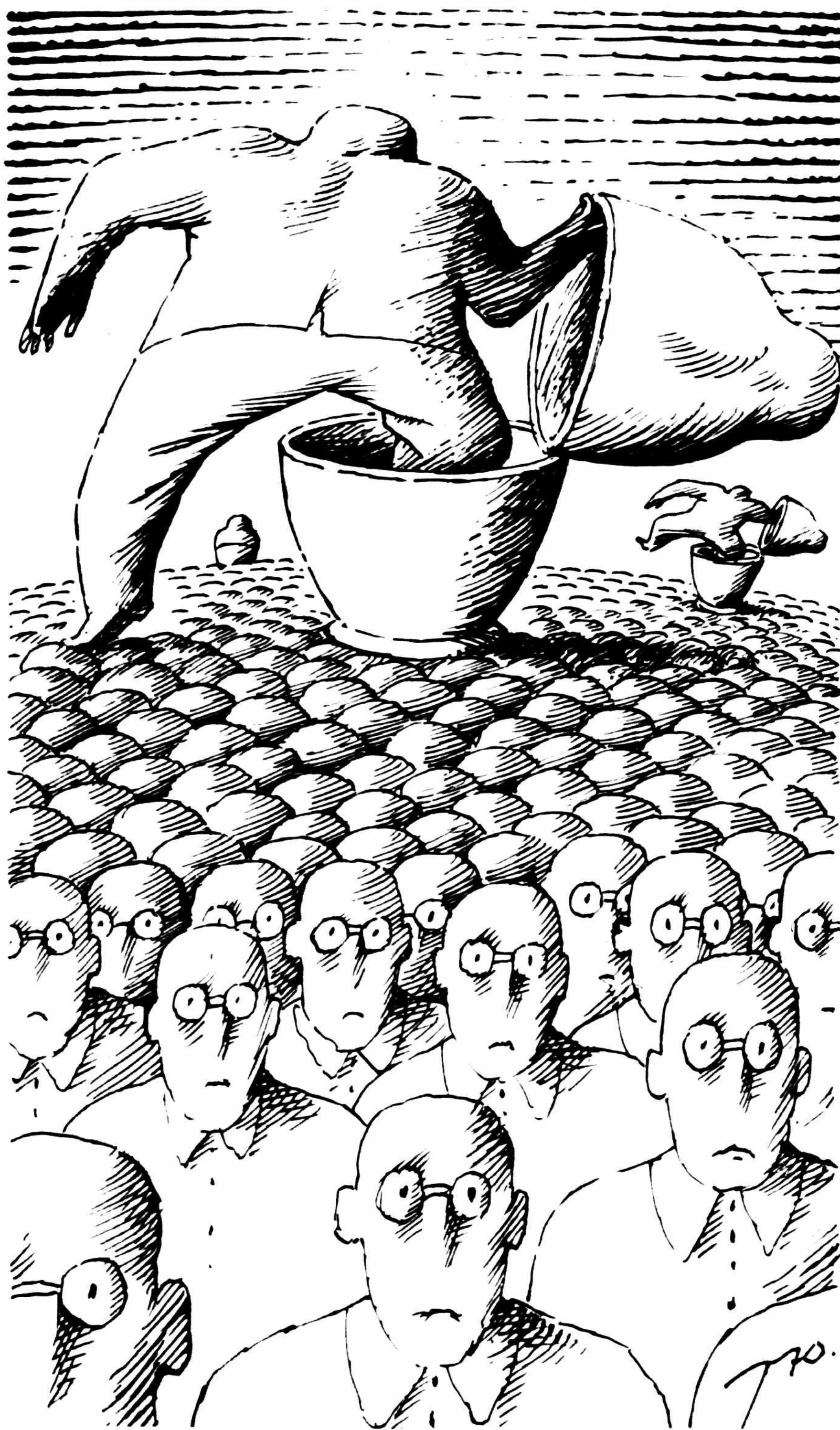
ДМИТРИЙ БАЛЬТЕРМАНЦ



Умер Дмитрий Бальтерманц. Это его глазами мы наблюдали в «Огоньке» очень многое из происходившего в мире, плакали и радовались с ним вместе. Сделанное Дмитрием Николаевичем — одно из самых ярких и честных свидетельских показаний о двадцатом веке. Он был математиком, он сражался на войне. И всегда в своих фотографиях, даже самых жестких, он стремился вывести формулу добра. Этот человек очень любил нас с вами и сделал все, что мог, дабы мы лучше увидели и поняли жизнь. Нам будет очень недоставать его. «Огонек» был немыслим без Бальтерманца, и мы сделаем все, чтобы острота нашего взгляда на мир оставалась неизменно честной, а любовь к жизни направлялась надеждой на то, что завтрашний мир будет лучше. Очень больно, что люди, отдавшие свои жизни этой надежде, уходят один за другим. Нам так их не хватает. Без Дмитрия Николаевича Бальтерманца будет очень трудно. Мы будем глядеть в лицо времени и его глазами.

ОГОНЬКОВЦЫ

Рисунок Сергея ТЮНИНА



ВНИМАНИЕ! „ВТОРЫЕ" ВЫХОДЯТ ИЗ ТЕНИ!

Андрей НУЙКИН

Очереди у нас не любят, ругают, а экстремисты из межрегиональной группы норовят использовать факт их наличия для очернения наших революционных завоеваний. Несправедливо это. По-моему, именно очереди (а что же еще?) сделали советский народ самым интеллектуальным в мире. В очередях хорошо думается: времени вдоволь, телефон не звонит, быт не отвлекает. На нарах, как утверждают бывалые люди, тоже хорошо думалось. Так вот, стою я как-то в очереди за дефицитом и думаю. Естественно, о перестройке, о чем же нам, ее прорабам, еще думать? А конкретнее — о том, сколько загадок нами еще не разгадано, тайн не раскрыто.

Оглянитесь хотя бы на историю. В КГБ, вон, оглянулись и остолбенели от удивления: не было, оказывается, у нас никогда никаких «врагов народа»! Десятки миллионов представителей народа их коллеги не так уж и давно запытали, заморили, заморозили, думая, что есть, а оказалось — зря. Пригрезилось просто кому-то, будто есть. Так что само это ужасное словосочетание надо забыть навсегда. Ведь те, что пытали, морили и морозили, делали это с народом не как враги его, а как друзья. А также во имя порядка и, разумеется, для плана. Вот и встает уже в который раз вопрос: ну а у перестройки сейчас тоже нет совсем врагов или все же есть отдельные? Если послушать воскресные телевизионные проповеди, горячо призывающие нас возлюбить врагов наших, то ведь получается, что и возлюблять-то некого, поскольку откуда же им, врагам, у нас в бесклассовом обществе взяться и где спрятаться, если все клеточки общественного организма просвечиваются всепроникающим благотворным влиянием партии, не говоря уж об осведомителях КГБ? Но в том и загадка, что пять лет уже у нас в стране все как один перестройку всемерно поддерживают, теоретически обосновывают, делами крепят, а она, болезная, почему-то все на том же месте нервно топчется и на ладан с большими перебоями дышит. Сама себе враг, похоже.

Или такая вот загадка. Воспылал вдруг неприязнью наш народ к своим уму, чести и совести. Да как сильно! Одно время прямо будто цунами по стране прокатилось — митинги, собрания, пикеты, кирпичи в окна, резолюции — убрать областное (городское или еще какое) партийное руководство! Дискредитирует оно идеи, которыми кормится, взятки оно берет, квартиры между родственниками делит, критиков в бараний рог закручивает и в качестве боевых трофеев на стены охотничьих домиков развешивает. С народом шутки плохи. «Цунами» это самое просто выметало из кресел одного за другим лидеров областных и городских (не считая районных) партийных организаций. В стране началось всенародное гулянье, ликование и высокое подбрасывание чепчиков. Но когда чепчики собрали, отряхнули и положили обратно в комоды, над страной повисло напряженное, полное недоумения молчание: почти изо всех с боями освобожденных кресел жизнерадостно поглядывали на трудящихся бывшие «вторые». И что интересно: почти везде их избирали предельно демократично, очень тайно и даже сплошь и рядом на альтернативной основе. Газета «Правда» запестрела мелкими сообщениями под заглавием «Состоялся пленум». Такого приблизительно содержания: «Кировоград, 26 (ТАСС). Состоялся пленум Кировоградского обкома Компартии Украины, рассмотревший организационный вопрос. Пленум удовлетворил просьбу Н. И. Самилыка об освобождении его от обязанностей первого секретаря обкома партии в связи с переходом на другую работу» (или «в связи с уходом на пенсию», или «в соответствии с поданным заявлением»...). «Первым секретарем Кировоградского обкома партии тайным голосованием из трех кандидатур избран Е. В. Мармазов, работавший вторым секретарем обкома» («Правда», 27.04.90).

Очень, как оказалось, народ у нас любит вторых секретарей и вообще — «вторых».

«Похоже, апрель 1990-го вместе с пятилетним юбилеем перестройки может стать началом второй волны смены руководящих кадров»,— жизнерадостно вроде бы начинает свой материал Виктор Лошак, но далее ошарашенно констатирует загадочную особенность этой «второй волны».

«Вместо министра здравоохранения Евгения Чазова назначили его первого заместителя Игоря Денисова. Министра гражданской авиации Александра Волкова сменил его первый заместитель Борис Панюков... 37-летнего первого секретаря ЦК ВЛКСМ Виктора Мироненко сменил 36-летний секретарь Владимир Зюкин. Профсоюзы за двадцать минут, как подсчитал журналист одной из газет, проводили на отдых своего председателя Степана Шалаева и избрали его заместителя Геннадия Янаева... Загадки, загадки...» («Московские новости», 29.04.90).

Нелегкие загадки и мрачные какие-то, право слово. Начнешь над ними голову ломать — никакого удовольствия от стояния в очередях уже не получаешь. Посудите сами: всем ведь известно, что первые у нас руководят обычно на манер английской королевы — царствуют, своевольничают, номенклатурные блага в полном объеме получают, но страну разоряют и практические беззакония осуществляют обычно руками вторых. Откуда же в народе к этим вторым такая любовь вдруг вспыхнула? Что же получается — на шумные мятежи чуть ли не все население областей поднималось только для того, чтобы первого на второго сменить? Так бы и остался я с этим своим недоумением до конца перестройки, если бы однажды среди откликов на свое «Открытое письмо ко всем бюрократам, коррупционерам, взяточникам, военно-промышленным ястребам, дельцам теневой экономики, мафиози и прочим захребетникам Советского Союза» (см. «Огонек», 1989, № 40) не получил еще один, отпечатанный явно непрофессиональной рукой, но зато на хорошей бумаге.

Прочитал я этот отклик, и очень мно-

го вопросов к перестройке у меня отпало само собой. И насчет того, есть ли у нас эксплуататорский класс, стало ясно, и насчет того, почему буксует перестройка, и кто ее начинал и зачем начинал, и почему народ так любит вторых, и можно ли с нашими захребетниками наши разногласия полюбовно уладить, и вообще почему мы при нашем богатстве такие бедные...

Впрочем, письмо само за себя говорит более чем красноречиво. Поэтому предлагаю его вашему вниманию полностью, без всякой правки, оставив за собой право чуть ниже бегло прокомментировать некоторые его положения.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО АНДРЕЮ НУЙКИНУ И ПРОЧИМ ГЛАШАТАЯМ ПЕРЕСТРОЙКИ

Многоуважаемый Андрей!

Вы, надеюсь, извините меня за столь фамильярное обращение.

К сожалению, журнал «Огонек» и многие другие издания в последнее время почему-то отобрали у своих авторов отчества. Так что не взыщите.

Пишет Вам один из тех, кого Вы в своем «Открытом письме» назвали «захребетниками».

Скажу сразу, что за прозвище я отнюдь не в обиде, воспринимая его просто как некий термин, обозначающий определенное социальное явление.

Коротко о себе. Бюрократ областного масштаба. Лет от роду — 40. Русский. Рабочий стаж — 23 года, в т. ч. бюрократический — 15. Женат, имею двух детей.

Не был, не имею, не привлекался. И не собираюсь.

С другой стороны: состою, имею, участвовал. И не жалею.

Прочитав Ваше выступление в «Огоньке», понял, что для меня оно может иметь двоякое истолкование.

Если Вы действительно написали все, что думаете, то дело Ваше дрянь, ибо долгонько еще придется Вам постигать меня — «захребетника» и своего противника во всей моей сложности.

Если же Вам пришлось писать не то или не совсем то, что Вы думаете, до полной гласности глашатаям перестройки так же далеко, как и до моей персональной пенсии.

Оба варианта вполне для меня приемлемы и вызывают массу положительных эмоций.

При всех обстоятельствах считаю своим долгом дать Вам решительный отпор, указать на Ваши ошибки, равно как и кое-что разъяснить. Если не Вам, то предполагаемому читателю и самому себе, так как изложение собственных соображений на бумаге само по себе способствует оформлению их в виде логической системы.

Начну с того, что мне в Вашем опусе понравилось. А понравилось мне употребление понятия «класс» в отношении тех, кого Вы называете «захребетниками». Вы то упоминаете наше «классовое чутье», то говорите о «наименее политически зрелой части вашего (т. е. **нашего**) класса». Из цитированных мест со всей очевидностью следует, что Вы считаете нас, «захребетников», классом.

Легко догадаться, что класс этот ничего общего ни с общеизвестным рабочим классом, ни с не менее известным колхозным крестьянством не имеет.

Но здесь Ваше перо остановилось. А ведь по логике вещей следовало дать классу «захребетников» не только название, но и определение. Не смогли? Или не захотели?

Если не смогли, то мне Вас жаль, ибо любой средней руки бюрократ это определение классовым чутьем «осязает», хотя и не всегда по «темноватости» своей сформулировать способен.

Если не захотели, то мне Вас жаль вдвойне, ибо трусость... (Вспомните, как там у Булгакова, я его слишком давно читал.) ...Словом, не самое это лучшее человеческое качество. Особенно для того, кто, как я Вас понимаю, собирается бороться не за кусок хлеба с маслом, но за некие идеалы.

На всякий случай определение это я все-таки сформулирую. Во-первых, приоритет, пусть даже и анонимный, мне льстит, а во-вторых, стоит ли дожидаться, пока Вы то ли прозреете, то ли храбрости наберетесь?

Итак: что же сие за феномен — класс «захребетников»?

Общественные классы — это, как известно, «большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению... к средствам производства, по их роли в общественной организации труда, а следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают. Классы, это такие группы людей, из которых одна может себе присваивать труд другой, благодаря различию их места в определенном укладе общественного хозяйства» (В. И. Ленин, ПСС, т. 39, с. 15).

Здесь дано определение классов эксплуататорских и эксплуатируемых. Думается, что именно к эксплуататорскому мы должны отнести и мой родной класс «захребетников», так как мы, без сомнения, присваиваем себе чужой труд.

Обычно, определяя сущность того или иного класса, исходят из его отношения к средствам производства, выясняя, не является ли данный класс их собственником.

Однако в «исторически сложившейся в нашей стране системе общественного производства» средства производства являются общественной, общенародной или колхозно-кооперативной, сиречь ничьей, собственностью, а отношение к ним можно определить как соответствующее, сиречь наплевательское, так что общепринятый способ вычленения класса здесь, очевидно, не подходит.

Речь, видимо, должна идти о месте данного класса в «определенном укладе общественного хозяйства».

Какое же такое место занимают в нашем укладе бюрократы, коррупционеры, взяточники, мафиози и прочие «захребетники» по Вашей, Андрей, терминологии?

Что позволяет им присваивать чужой труд?

Ответ напрашивается сам собой: это их **отношение к прибавочному общественному продукту, выражающееся в возможности его перераспределения.**

Перераспределение — это и есть тот способ получения доли богатства, характеризующий класс «захребетников».

Есть у тебя возможность перераспределить — реализуй ее, и ты «захребетник». Нет такой возможности — ты... Здесь нам еще предстоит найти термин, а пока воспользуемся сталинским, указанным в Вашей статье. Баран.

Кто еще остался? Те, кто имеет возможность, но ее не реализует. Значит, просто дураки, которых, как известно, и в алтаре бьют.

Только не надо предполагать, что возможность перераспределения общественного продукта целиком находится в руках бюрократии. Упаси нас боже от подобной монополизации, существующей, естественно, как некий бюрократический идеал, но на практике совершенно недостижимой и даже вредной.

Дело в том, что, монополизировав функцию перераспределения полностью, мы, бюрократы, были бы немедленно сметены волной справедливого гнева угнетенных. Во избежание подобного мы последовательно расширяем и совершенствуем свою классовую опору, предоставляя возможность участия в перераспределении самым различным слоям, группам и просто отдельным личностям.

Если говорить конкретно, то прибавочный продукт, кроме нас, на разных уровнях перераспределяют — посчитаем на пальцах: сфера обслуживания — раз; сфера торговли — два; нецивилизованные (а других нет) кооператоры — три; несуны — четыре; лодыри и бездари, получающие зарплату за пребывание на рабочих местах,— пять; имеющие возможность ездить за рубеж — шесть; уголовная среда — семь; работники юстиции — восемь (двумя пальцами я печатаю, так что на этом и остановимся).

Для всех этих и многих других групп мы создаем условия: разваливаем экономику, пишем запутанные, двусмысленные и противоречивые инструкции, создаем товарный дефицит, оставляем «дыры» в издаваемых законах, проводим различные кампании, дезорганизующие рынок услуг и товаров.

И мы же эти группы контролируем: не даем зарываться, производя периодические профилактические посадки, меняем их состав, облагаем данью.

Делается это, конечно, неосознанно; мы, бюрократы, в большинстве своем твердо уверены, что без нас немедленно наступит светопреставление с последующим одичанием и людоедством. Но не судите нас строго, так как ясное сознание своей объективной роли в социально-экономическом и политическом процессах — удел немногих. Думаю, что Наполеон, если бы кто-нибудь в полном соответствии с исторической правдой сообщил ему, что вся его деятельность служила интересам крупной французской буржуазии, не только бы этому не поверил, но и был бы возмущен. Он-то ведь наверняка считал, что боролся за славу и величие Франции в целом, за создание «общеевропейского дома» и т. п.

Персональный и профессиональный состав нашего класса постоянно изменяется. В этом — источник нашей силы и неуязвимости.

Сегодня ты баран на производстве зубных щеток с окладом 180 рублей. Завтра мы сократили лимиты на пластмассу, грянул зубощеточный дефицит. Теперь ты «захребетник». Перераспределяй, не теряйся!

Вот он каков, наш класс! Пойди поборись с этой аморфной, растекающейся массой! Руби ее мечом, жги огнем, трави кислотой — она лишь колыхнется немного, отползет в сторону и преспокойно продолжит свою деятельность.

Что же этой массе, которую никто не считал и не учитывал, могут предложить перестройщики? Оздоровление экономики? Три «ха-ха», как шутили в дни Вашей молодости, Андрей. Оздоровление предполагает необходимость трудиться, а трудиться «захребетники» как раз и не умеют. Разучились. А что они умеют?

Пожалуйста: пять рублей за плохо починенный кран на кухне взять — раз; дефицит за четвертной из-под прилавка вынуть — два; килограмм шашлыка вместо пяти рублей за двадцать пять продать — три; подшипник копеечный, но дефицитный из цеха за червонец вынести — четыре; восемь часов в своем НИИ за пособие по безработице высиживать — пять; видюшник от бабушки из-за бугра скинуть — шесть; шапку с прохожего в темном переулке снять — семь; уголовное дело за умеренную мзду закрыть — восемь. А еще можем мы, «захребетники», любого, кто на наш модус вивенди покусится, в порошок стереть.

Вы, Андрей, можете возразить. Дескать, шапки снимают с тех, кто от бабушки видюшники привозит: другие просто и снимать смысла нет. Получается, что наш класс сам себя и грабит? Получается, что так. Внутри класса «захребетников» идет постоянное перераспределение изъятых у баранов ценностей; это, однако, не мешает всему классу стричь баранов с прежней, а то и возрастающей интенсивностью. Кроме того, ограбленный дочиста «захребетник» переходит обратно в бараны, а на его место рекрутируется кто-нибудь из последних. Таким образом захребетная философия распространяется и среди баранов, поражая волю их к сопротивлению эксплуататорам.

Маленький исторический экскурс. В царствование императрицы Анны Иоанновны, после разорительного петровского скачка, когда страна, терзаемая и растаскиваемая временщиками, пребывала в глубоком застое, некий юродивый сформулировал основной постулат общественной жизни следующим образом: «Мы, русские, с голоду не помрем: мы друг друга едим и с того сыты бываем».

Знакомая картинка?

Теперь, разъяснив, как я надеюсь, сущность своего класса и его основные черты, попробую подробнее остановиться на некоторых положениях Вашей статьи.

Вы, Андрей, высказываете мнение, что «вы (т. е. **мой** класс) могли бы уже не раз покончить с перестройкой», и задаетесь вопросом: почему это мы не торопимся перестройку приканчивать?

Любое начинание, любую реформу мы поддерживаем и претворяем в жизнь лишь в той степени и в той части, в какой они служат или отвечают нашим интересам.

То же, что этим интересам не отвечало или противоречило, мы от века либо хоронили, либо под пламенные речи и клятвы доводили до полного абсурда, так что потом только хоронить и оставалось.

И никакие авторитеты над нами в таких случаях не довлели.

Почитайте-ка ленинские письма относительно концессии, которую предлагал нашей стране Арманд Хаммер! (ПСС, т. 54.)

Председатель Совнаркома, первое лицо в государстве, требует:

— Создать условия, помочь, наладить, оказать содействие!

Не создали, не помогли, не наладили, не оказали.

Вождь мирового пролетариата, организатор революции, негодует:

— Найти, привлечь, наказать.

Не нашли, не привлекли, не наказали.

Так и похоронили концессию. Теперь трудно уже выяснить, чем эта концессия нашего брата бюрократа ущемляла, но, видимо, имелись для ее торжественного захоронения веские основания.

Точно такие же серьезные основания имелись у класса «захребетников», когда мы санкционировали перестройку и впоследствии сохранили ей жизнь.

Какие же это основания? Отвечу самым конкретным образом.

Когда перестройка начиналась, мне было тридцать шесть. И был я, заметьте, по **нашему** счету вторым. А надо мной, как водится, был первый. И было моему первому шестьдесят.

Учитывая тот неоспоримый факт, что медицинское обслуживание на уровне первых — отличное, а условия (чуть не написал — труда) — хоть куда, можно было почти безошибочно предположить, что сидеть моему первому на своем месте еще лет пятнадцать. И, заметьте, ровно столько же сидел бы я, второй, на своем втором месте. А по всей стране — аналогичная картина, ибо основная масса первых стала таковой после последнего катаклизма 1964 года. За это время первые получили все, что могли, и отдавать это «все» в наши вторые руки отнюдь не собирались.

Конечно, каждый второй мог подсиживать своего первого в индивидуальном порядке, что сплошь и рядом и де-

лалось. Однако индивидуальное подсиживание — дело сколь хлопотное, столь и рискованное: вполне можно из вторых во вторую сотню вылететь.

А тут — перестройка! Для кого — оздоровление экономики, для кого — правовое государство, для кого — гласность и плюрализм.

А для нас, «захребетников»,— возможность безопасно и безболезненно переделить пирог власти не в «индивидуальном порядке», но в масштабе всей страны, причем на законном основании, т. е. «в свете решений».

Новое мышление?.. У кого?

— У меня, у второго, мне еще до пенсии двадцать лет.

Энергия?..

— У меня, у второго. Разве не видите? Первый рыбку удит, а я в теннис, как Вы справедливо, Андрей, заметили, играю.

Ура перестройке! Ну-ка, дружно!

Вытащили репку, посадили другую. Утерли пот. Мы перестроились!

Что там осталось? Оздоровление экономики? Это не по нашей части. Правовое государство?.. Мы — «за». В перспективе и хорошенько подумавши.

Гласность с плюрализмом? В любое время после трех подписей и четырех виз.

Так почему же, спросите Вы, Андрей, мы перестройку сразу же после передела пирога не придушили?

Отвечу как на духу. Дело все как раз в экономике. Перестройщики ее как раз оздоровлять собрались. Нам, «захребетникам», здоровая экономика не нужна. Нам надо, чтобы она, родимая, ни жива ни мертва лежала. Мы вокруг нее в белых халатах суетимся, тем и кормимся. Помирать, разумеется, окончательно не даем, но и на ноги чтобы встать — ни-ни, так как зачем ей, здоровой, такая прорва медперсонала?

А перестройщики что нам предлагают? Лечить. Что ж, мы, «захребетники», не против. И устроили мы в порядке перестройки занятную игру. Разные умные дяди — «прорабы перестройки» — прописывают экономике разные лекарства. А мы эти лекарства выдаем пациентке по своему усмотрению: в нужных нам дозах и в устраивающие нас сроки.

При таком лечении экономике не только со смертного одра не встать, но и хрипом смертным захрипеть весьма вероятно.

Хрипела она, правда, и раньше, но тогда нам самим виноватых искать приходилось...

Помните, Андрей?

Правильно. Такого не забудешь. Кулаки, вредители, международный империализм, сионизм, волюнтаризм. Правые уклонисты, левые уклонисты, врачи-отравители. Шпионы-диверсанты и главный вражеский агент Берия.

А теперь? Теперь даже искать не нужно. Всем и каждому ясно, что коли больной хрипит, то виноваты те, кто ему лекарства прописывал. Где они? Вот они! Статьи пишут, с трибун гремят, на митингах соловьями разливаются. Все до единого поименно известны.

Прикажете пример? Вот Вам самый злободневный — кооперация. Мы — за кооперацию. Только кооперация эта будет не по-вашему, а по-нашему. Вы, перестройщики, прописали больной экономике ленинский строй «цивилизованных кооператоров».

А мы, «захребетники», будучи всегда, когда нужно, туговаты на ухо, слово «цивилизованный» не расслышали. Покрутилось это словечко в разговорах, а в постановлениях и вовсе куда-то пропало. И полез на свет божий кооператор нецивилизованный — наш же брат «захребетник». Перераспределитель воды чистейшей и огранки изумительнейшей. И повязан этот кооператор с нами, бюрократами, не токмо что одной веревочкой, но стальным тросом.

Вы, Андрей, не слыхали, сколько надо заплатить кому надо, чтобы получить под кооператив помещение, разрешение и оборудование?

— Слыхали.

А кто, по-вашему, этот самый кто-то, «кому надо»?

Я, он, мы. «Захребетники». Не Абалкину же платить за разрешение продавать трехрублевый шашлык из мяса неведомых зверей по двадцать рублей в местах скопления нестриженых баранов?

И получилась из идеи оздоровления экономики посредством кооперации еще одна интересная и, главное, беспроигрышная для «захребетников» игра.

Чтобы организовать кооператив и обеспечить его работу, ты несешь на все уровни дензнаки, совершая тем самым деяние, достаточное для ликвидации твоего детища. Чтобы этой ликвидации избежать — несешь опять. Такой вот приятно-замкнутый круг с астрономическими ценами в центре. И крутится в этом кругу кооператор, превращаясь в нового «захребетника» и отложив все мысли о своей «цивилизованности» на более благоприятное время, имеющее наступить в ближайший четверг после осадков по сигналу сверху. Моему сигналу.

А я, как легко догадаться, сигнала такого давать не собираюсь. А собираюсь я озаботиться строгим исполнением нового постановления о «переборе» всех имеющихся кооперативов и разделении их на чистые и нечистые, которое примет очередная сессия энтузиастов.

Цивилизованности от этого перебора в моем исполнении кооператорам не прибавится, сам я внакладе не останусь, а отвечать опять энтузиастам придется.

И пусть эти самые энтузиасты потом оправдываются, что имели они в виду совсем не то, а нечто другое. Большинство населения им не поверит. Мало ли кто и чего в виду имел?! Главное-то — что из всего этого получилось.

Недаром ходит уже полвека по стране анекдот про Маркса, который, воскреснув и оглядевшись, только что и смог вымолвить:

— Пролетарии всех стран, простите меня!

Не знаю, как Маркса, а вас, перестройщиков, пролетарии простить захотят вряд ли. И объяснений не примут. Ибо не желаниями и намерениями определяются результаты нашей деятельности, но умением воплотить эти намерения и желания в жизнь, не подвергая их искажениям.

А умения такого в перестройщиках, очевидно, не наблюдается, так как само воплощение своих идей в жизнь доверили они нам, «захребетникам». Свидетельство тому — наше безмятежное пребывание у власти, отнюдь не омрачаемое нетленными призывами типа «Вся власть Советам!».

Что же до власти, то здесь Вы, Андрей, высказали удивительное для столь искушенного полемиста по своей противоречивости суждение, вопросив: «Почему вы ее (т. е. власть) не берете?» (Хотя из рук не выпускаете.)

Замечу, что, если власть у меня в руках, значит, я ее уже взял. И спрашивать, почему я ее не беру, по меньшей мере наивно. И еще более наивно звучит Ваш ответ на Ваш же собственный вопрос: «Мне кажется, что, сорвав перестройку, вам пришлось бы полностью брать власть в свои руки».

Сорвав перестройку немедленно, нам пришлось бы брать на себя не власть, которую, как я показал, мы сохранили, оставшись при перераспределении, а ответственность.

Пока же власть у нас, а ответственность у вас. И нас, «захребетников», такое положение вещей вполне устраивает.

Сохраняя командные высоты, мы с удовольствием продолжим созерцание вашей самодискредитации, оказывая вам в этом деле полное анонимное содействие.

Вспомните: что бы там ни придумывал тренер, воплощение остается в руках команды. А коли уж команде оставлены командные высоты, т. е. право оставаться в неизменном составе, то тренеру остается либо уходить, оставаясь виноватым, либо делать только то, что команде угодно.

Так что вопрос о власти просто не стоит. Пока. Но надеюсь, что на наш век этого «пока» хватит.

А теперь поговорим о том времени, когда это блаженное «пока» кончится.

Для этого обратимся к апокалиптической, или, как Вы выражаетесь, апокалипсической, части Вашего послания.

Припоминаю. Нитраты, пестициды, СПИД, алкоголизм, наркомания, дебилизация, вырождение и т. д.

Картина неприглядная.

Но на то она и картина, чтобы ее можно было закрыть занавеской, поставить лицом к стене, спрятать в запасники.

Вот Вам, Андрей, интересный исторический факт: в Кремле в XVII веке провели водопровод. Из свинцовых труб. Из **свинцовых труб**. И пила вся царская семья отравленную водичку, и помирали наши правители вместе с чадами и домочадцами в среднем лет на десять ранее отпущенного им срока. Но помирали, заметьте, с легким сердцем. Картина была в запаснике.

И пребывала она там до самого последнего времени при активном нашем, «захребетников», содействии. Проявляя гуманность, мы предоставили населению нашей цветущей страны одну из самых прекрасных в мире возможностей — помирать с легким сердцем и светлой верой в родную медицину.

Но вот являетесь вы, перестройщики, вытаскиваете полотно из запасника и начинаете пугать грешников его апокалипсическим содержанием.

А дальше что? Неужто **мы** эту картину раньше вас не видали? Видали. Но сделать ничего не могли. Лишнего общественного продукта на решение экологических проблем у нас нет. А отрывать этот самый продукт от самих себя мы не можем, так как если оторвем, то автоматически прекратим свое в качестве класса существование. А где это вы видели класс, который сам себе могилу роет и сам в нее ложиться изволит?

Вот и кричите теперь об экологии, пока не надоест — или вам самим, или вашим слушателям. А когда надоест, мы эту апокалипсическую картину — опять в запасники. Без всякой натуги. Возьмем и повысим ПДК еще раз этак в десять. Волевым анонимным актом. При полном научном обосновании — даром, что ли, в наше время мы напекли кучу захребетных докторов наук, которые ПДК с КПД путают?

Что до дебилизации населения, то она нам не так уж страшна. Во-первых, грань между дебилом и нормальным человеком столь малозаметна, что в нашей власти с тем же полным научным обоснованием перевести часть дебилов, чтобы статистику не портили, в нормальные люди. Во-вторых, сам по себе дебил даже и неплох. С ним, как и с алкоголиком, легко управляться, многого он не просит, работу несложную выполняет, ни в чем дурном не замечен. Кстати, дебил даже и не знает, что он дебил. И с Вашей стороны, Андрей, открывать ему эту тайну просто негуманно.

Если же сознания подобного антигуманизма Вам для того, чтобы убрать с глаз долой апокалипсические виды, недостаточно, то подумайте о другом.

Почему Вы так твердо уверены, что природа в процессе эволюции имела своей целью создание именно хомо сапиенс в его нынешнем виде, то есть Андрея Нуйкина с двумя руками, двумя ногами, парой глаз и одним языком? Откуда такая уверенность? Может быть, вселенская программа ориентирована как раз на дальнейшие антропогенные мутации? Может быть, путь прогресса ведет нас прямо к какому-нибудь двенадцатижаберному, трехглазому и хвостатому индивиду, которому ни нитраты, ни пестициды, ни проникающая радиация не только не вредны, но даже и полезны?

А Вы, Андрей, своими пророчествами в духе Иоанна Богослова прогрессивный сей путь канавами перекапываете. И не становитесь ли Вы похожи на некоего неандертальского мудреца, который жизнь свою положил на борьбу с выпаданием у своих соплеменников волос, ибо почитал этот процесс за вырождение вида?

Вы оценили, как интеллигентно я Вам предоставил возможность отступления? На чисто научной основе! Подумайте над этим вариантом. Право, стоит того. А коли согласитесь, мы, глядишь, Вам что-нибудь при перераспределении и уделим. Что тут плохого? Не Вы будете первым, не Вы последним.

А теперь последнее. Вы, Андрей, обращаетесь к нам с предложением «поумнеть», «перевернуть нашу дурацкую, разорящую материально и растлевающую духовно систему экономического стимулирования с головы на ноги». И это после того, как Вы назвали нас «деловыми людьми» и признали нас классом.

И этому-то классу, главным условием существования которого и является стоящая на голове «система экономического стимулирования», Вы предлагаете в лучших традициях мирового утопизма сообща строить светлое будущее.

Вы предлагаете нам отказаться от своего классового господства? Прекрасно!

А что Вы можете предложить нам взамен? Место дворника в поставленной на ноги экономической системе?

На большее нам, прошедшим путь длительного отбора и приспособления к совершенно специфической деятельности в условиях нашей не менее специфической экономики, рассчитывать не приходится. Куда пойти мне, человеку с пятнадцатилетним стажем угадывания намерений начальства и взвешивания на лабораторных весах возможностей того или иного кандидата на то или иное место в иерархической структуре? Кому в условиях нормальной экономики понадобится мое высшее техническое образование, вернее, полученный когда-то диплом?

Куда деться снайперу в условиях всеобщего и полного разоружения?

Об этом Вы подумали, предлагая мне добровольно уйти от власти? Отдайте, будьте добры, жену дядя...

Вам даже откупиться от меня нечем, так как больше того, что я имею, Вы мне не дадите, а в тот момент, когда я откажусь от власти, никто не гарантирует мне безопасности моих сбережений от конфискации на алтарь...

Так что не рассчитывайте, Андрей, будто мы сами поможем Вам рыть **нашу** могилу и ляжем в нее по первому требованию. Никак нет. Да и по второму не ляжем. И по третьему тоже.

Как класс мы будем бороться за сохранение своего «места в определенном укладе общественного хозяйства» и за самый этот уклад, не щадя крови и самой жизни своих классовых врагов.

Вспомните историю! Где и когда один класс уступал господство другому без большего или меньшего кровопускания?

И не Вам объяснять, что с развитием средств массового уничтожения масштабы подобных кровопусканий отнюдь не уменьшаются.

Сравните, во что обошлись народам английская буржуазная, Великая французская и Октябрьская социалистическая революции?

Прогрессия более чем очевидная. И Вы, Андрей, интеллигентный человек, печалующийся о рыбках и птичках, на подобное кровопролитие решитесь? На новую гражданскую войну со всеми предреченными Вами же апокалипсическими ужасами?

Я в это не верю. А потому и не боюсь. Ни Вас, ни Ваших единомышленников. Ни за себя лично, ни за **наш** класс. Потому что любая борьба угнетенного класса за свои права против «захребетников» без решительных руководите-

лей неминуемо превратится в «игру в одни ворота», где бомбардирами будем мы, «захребетники», бюрократы, коррупционеры, мафиози и пр.

Извините за несколько сумбурный характер моего письма. Мне давно не приходилось излагать свои мысли в письменной форме. Бюрократу, сами понимаете, это ни к чему.

Прошу также простить за опечатки — времени мало, а отдавать подобное письмо секретарше на перепечатку — не в традициях нашего класса.

Следуя тем же традициям, я предпочитаю анонимность, хотя, разумеется, и хотел бы увидеть свое письмо напечатанным. Мне, анониму, это ничем не грозит, а удовольствие доставит.

Если же достигнутый журналом «Огонек» уровень плюрализма не позволит опубликовать письмо, то я по крайней мере удовлетворюсь точным его (уровня плюрализма) определением.

Коли же Ваш, Андрей, личный плюрализм несколько отличается от редакционного, я буду рад узнать Ваше мнение по этому вопросу.

Остаюсь по-прежнему Вашим непримиримым врагом.

БЮРОКРАТ

НЕБОЛЬШОЙ КОММЕНТАРИЙ

Прочитали? Ну и как вам? Меня лично письмо моего Непримиримого Врага очень порадовало. Во-первых, в порыве тщеславной болтливости он разгласил ряд важных классовых тайн. А во-вторых, какой слог, сколько экспрессии, игры ума!.. Ума, конечно, искалеченного воспитанием и службой, но явно неординарного по исходному материалу.

Кого-то, возможно, шокируют, даже возмутят неуважительные, более того, презрительные аттестации, выданные нам, «перестройщикам», и всему трудовому народу вообще? Зря. На правду, даже если она высказана несколько прямолинейно, обижаться не стоит. А то, что уважаемый Захребетник пишет о сущности своего класса, о внедренной этим классом системе управления, о способах «стрижки» народонаселения, о причинах, побудивших правящий класс провозгласить перестройку, о том, почему она (вместе с нашей экономикой) и не помирает, и не выздоравливает, и о многом другом — все правда! Чего уж тут самообольщаться. И то, что внутренний, аппаратный смысл перестройки — сделать армаду засидевшихся в засаде Вторых Первыми,— тоже очень на правду похоже.

Может возникнуть вопрос: чего это наш Второй так разоткровенничался? Не памфлет ведь у него получился, как ему замышлялось, а прямо стриптиз какой-то! Обнажающийся же сорокалетний, засидевшийся в чиновничьем кресле бюрократ, даже если он изредка и занимается теннисом,— зрелище, согласитесь, малоаппетитное. Мне кажется, тщеславие его в грех ввело. Дело в том, что по уму, по некоторой начитанности, по опасной склонности к философствованию и умению написать что-то, не укладывающееся в канцелярские жанры, наш Второй явно выделяется из обычного контингента партийно-государственных чиновников. То, что он пишет, упиваясь всемогуществом своего класса и созданной его гением системы управления баранами, в общем-то в кругах не философствующих, а думающих давно не новинка. Но Второй-то об этом не подозревает! Он-то убежден, что первым раскусил все недоступные простым смертным секреты взаимоотношения хозяев жизни и глупого народа. Его открытия кажутся ему эпохальными, выделяющими его среди всех крестных отцов системы. Но с кем, подумайте, он может поделиться своими открытиями? С Первым, который всерьез воспринимает свое захребетничество как великую миссию по внедрению всеобщего счастья на вверенной ему территории? Покуситься на его лицемерие — значит оказаться даже и не во второй сотне, а значительно дальше.

С Третьим? Этот поддакнет, поразится мудрости, глубине понимания мироздания и тотчас испишет десяток страниц убористым почерком в некоем досье, припасенном на тот момент, когда созреет ситуация стать Вторым, а если себя умненько повести, то и Первым.

Вот и приходится делиться сокровенными открытиями со своим Врагом, щеголяя беспощадной логикой, неприкрашиваемым цинизмом и небрежными ссылками на Ленина, Булгакова и Иоанна Богослова. Просто физически ощущаешь в тексте, как давно хотелось автору пощеголять всем этим: умом, цинизмом, начитанностью... А где было щеголять? В своем кругу рискованно: там не любят ни первого, ни второго, ни третьего. То есть цинизм где-нибудь в сауне или на дачке в узком кругу допускается, но в определенных пределах и не при посторонних же!

Однако улавливается в письме и еще один побудительный мотив. Совсем тайный, подавляемый и маскируемый автором даже от самого себя.

«Я в это не верю. А потому и не боюсь. Ни Вас, ни Ваших единомышленников. Ни за себя лично, ни за наш класс»,— твердо подводит Второй резюме всей своей полемике с моим «Открытым письмом».

Во что же именно он «не верит»? А в то, что я и мои единомышленники, люди постыдно интеллигентные, решимся на кровопролитие, на новую гражданскую войну со всеми предреченными мной апокалипсическими ужасами (а без этого власти у «захребетников» не отнять, ибо его класс будет бороться за свое место под солнцем, «не щадя крови и самой жизни своих классовых врагов»). Лукавит уважаемый коллега. Притворяется, что не понял предостережений. Ни я, ни мои интеллигентные единомышленники, конечно, по своей инициативе кровавой гражданской войны не затеют. В лепешку расшибутся, чтобы ее избежать. И прямо про то речь шла. Этого-то класс «захребетников» может не бояться. Другого ему надо бояться (о чем и шла речь) — их безрассудный экономический и нравственный беспредел сам приведет к кровавой схватке, где править бал будут не интеллигенты. И вот в это-то Второй явно поверил. Да и как не поверить очевидному? Поверил и испугался. Не случайно он ничего не ответил на напоминание про народный гнев, который не раз уже сметал за историю захребетников, что были никак не глупее нынешних, да и в жизнь куда более прочно укорененными. Что тут ответишь? Было. Значит, может и повториться. А испугавшись, Второй начал пугать нас. Всемогуществом своего класса, полной неуязвимостью его: «Пойди поборись с этой аморфной, растекающейся массой! Руби ее мечом, жги огнем, трави кислотой — она лишь колыхнется немного, отползет в сторону и преспокойно продолжит свою деятельность».

Это не пустые слова, много в них точно понятого, верно описанного. Много, но не все. Есть и у нашего Кощея своя игла, и очень Кощею хочется, чтобы о месте ее сокрытия никто не догадался. Отсюда и заклинания, настраивающие на полную безнадежность борьбы. Отсюда и поразительная откровенность саморазоблачений.

Автор словно говорит нам: вы думаете, если раскусили наши шулерские приемы, то нам конец? Три «ха-ха!». Пожалуйста, мы можем играть с вами в открытую. Нам нет нужды тратиться на крапленые карты и унижаться до передергивания — вы в любом случае проиграете вчистую, ибо колода как была, так и остается в наших руках, и ничто не помешает нам в любой момент сдать себе все тузы, а вам — только шестерки. Ну, а потом тягайтесь!

В своем письме Второй, по-моему, это и делает: открывает с усмешкой все свои карты, демонстрируя, что там одни тузы и десятки, а, стало быть, наша игра заведомо проиграна. Ни за себя, ни за класс он не боится. Ни капельки.

«Не боится»?! Чего же он тогда не ставит свою фамилию под письмом? Чего же он пишет его тайно от сотрудников, жены и секретарши и, даже не чувствуя злой иронии слов, называет свою анонимку «открытым» (!) письмом?

Нет, господа, не так уж прочно положение наших «захребетников», если второй человек в области (сейчас вполне, может быть, уже и первый?) тратит свободные вечера (которые у него, конечно, наперечет) на сочинение обширного послания какому-то не обремененному должностями публицисту, старается поразить его эрудицией, блеском иронии, остатками вузовской латыни...

Знаете, временами мне даже становилось по-человечески жалко своего «непримиримого» классового врага.

Не получилась у него жизнь, а ведь задатки явно были неплохие. За навязчиво демонстрируемыми им уверенностью, даже бахвальством отчетливо проглядывают какое-то смятение, какая-то надтреснутость, какой-то мучительный комплекс неполноценности. Не отсюда ли и напускная повышенная бодрость тона, и навязчивая демонстрация «аристократизма», эстетской изысканности (задел все-таки, похоже, его разговор о плебействе нынешних хозяев жизни!).

Даже цинизм его какой-то чересчур демонстративный. За внешней легкой иронией (в адрес себя и своего класса) нет-нет да прорвется тяжелая нота самоубийственного сарказма: «...мне, человеку с пятнадцатилетним стажем угадывания намерений начальства...» Да и за лихостью рассуждений о том, как просто с помощью армады готовых маму родную на мясозаготовки продать докторов наук (путающих ПДК и КПД) простым росчерком пера сделать картину отравляемой природы в десять раз светлее, или о том, как легко руководить дебилами, проглядывает тоска по иной жизни, иной карьере. И то сказать, что за радость быть Вторым, пусть даже Первым среди жизнерадостных и исполненных почтительности дебилов?

Но тут, пролив исполненную абстрактного гуманизма слезу жалости над горькой судьбой преуспевающего Захребетника, пора вернуться и к нашим собственным заботам. И осознать, что человеческие нотки смятения, самоиронии и сострадания к разграбленному, испохабленному им миру Второй может себе позволить только раз в пятнадцать лет, запершись в кабинете (или на кухне?), тайно от сотрудников по партии и классу. Можно не сомневаться, что реальным его каждодневным поведением безоговорочно руководит боевая установка: «Как класс мы будем бороться за сохранение своего места в определенном укладе общественного хозяйства и за самый этот уклад, не щадя крови и самой жизни своих классовых врагов». И к «кровопусканию», по сравнению с которым те, что были организованы прошлыми сходящими со сцены классами «захребетников»,— детские игрушки, он полностью готов.

Что ж, спасибо за откровенность. Наши «властители мира» готовятся напасть на свой народ с предварительным объявлением ему войны. Авторам писем в «Правду» и «Советскую Россию» это должно дать новый импульс для того, чтобы поднять еще одну волну энтузиазма и признательности к столь человеколюбивому и заботливому режиму и призвать нас быстрее бежать к станкам, чтобы работать, работать и работать! А то нашим «захребетникам» скоро абсолютно нечего будет с нас состригать. Придется им на улицах друг с друга ондатровые шапки срывать и нелегально за границу за валюту переправлять, что может окончательно подорвать авторитет социализма у прогрессивной мировой общественности.

ИЗ ПИСЕМ АНДРЕЮ НУЙКИНУ

Бессмысленно подробно рассматривать каждый тезис «Письма»... («Огонек» № 40, 1989 г.). Коснусь только одного абзаца (в котором, вообще говоря, вся «соль»).

«Глядишь, тогда и за ввод войск в Афганистан кому-то, наконец, отвечать придется; и за чернобыльскую трагедию не только несколько «стрелочников» предстанут перед судом; и за хладнокровно утопленных возле норвежского берега моряков; и за карательно-устрашительную акцию в Тбилиси; и за преднамеренное убийство (при отягчающих обстоятельствах) Аральского моря; и за превращение черноземов в асфальт, а лучших в мире пойменных лугов — в дно безжизненных гниющих водоемов; и за трагедии малых народов; и за «психушки»; и за фальсификацию выборов в высший орган государственной власти; и за пытки во время следствия; и за сознательный развал экономики; и за безграничное воровство, взяточничество, коррупцию, укрывательство преступников... Впрочем, вам ли не знать (вопрошает Андрей Нуйкин), за что с вас давно уже полагалось бы спросить по всей строгости закона?» Да... Чего только не наворочено в этой короткой фразе! И кто же виновники? Взяточники, бюрократы, ястребы, дельцы, мафиози и прочие захребетники Советского Союза! Да полноте, дорогой товарищ Нуйкин! Верите ли вы сами в этот поистине фарисейский бред?

Начнем с Афганистана. Разве ввод войск по просьбе законного правительства — это преступление? Где и какой орган в СССР признал эту акцию ошибочной? Но пусть даже это была трагическая ошибка. Разве вся мировая история не пронизана такого рода ошибками? Разве возможно все заранее предвидеть, предсказать, учесть?

«Развал экономики», «Чернобыль», проблемы экологии и в том числе Арала, «трагедия малых народов»... Вот вы, тов. Нуйкин, действительно вполне сознательно хотите подвести читателя к одному: виновна КПСС и Советская власть. Спору нет, вина их, безусловно, есть, и немалая. Но есть ли на свете ясновидец, который мог бы предсказать, как следовало поступить в той или иной ситуации? Кто застрахован от ошибок и просчетов? И кто возьмется «просчитать», что было бы с нашей страной, если бы Октябрьская революция потерпела поражение, если бы мы не победили в войне, если бы не стали сверхдержавой, не добились военного паритета с США и т. д.?..

Не играйте с огнем, тов. Нуйкин, он может сжечь и вас!

И заключает свое «письмо» Андрей Нуйкин словами: «Хватит потолков и уравниловки в честном труде, честном творчестве и честном предпринимательстве». Вот в последних двух словах и зарыта собака. Именно ради них и писалось «открытое письмо». Ну а кому это выгодно, читатель, я думаю, разберется и сам.

Б. РЕБРИК,
заслуженный изобретатель РСФСР, профессор
Москва

Важна сама суть конечной фразы приводимого Вами высказывания: «...Но нигде я не видел класса, в такой степени дрожащего за свою шкуру, благополучие и карьеру, как класс номенклатуры». Да, это социальное перерождение части нашего общества полностью соответствует определению класса. Части непосредственно коррумпированной, части могущественной, наиболее реакционной, экстремистски настроенной и непосредственно связанной с распределением.

Усмотрев в перестройке угрозу своему существованию, она пустилась во все тяжкие. И в этом главная причина того, что если внешнеполитические результаты перестройки впечатляющие, то результаты внутри страны — удручающие. Умело использовав перекосы в процессе демократизации нашего общества и опираясь на свои экономические возможности, эти антиперестроечные силы немало сделали в деле усугубления инфляции, финансовой несбалансированности, межнациональной разобщенности, небывалого роста преступности и так далее.

В этих условиях необходимо вспомнить, что государство — это и орган насилия и что есть пределы попустительству разного рода, которые не имеют ничего общего ни с демократией, ни с представлениями о правовом государстве. Нужны жесткие законодательные меры, которые не только подорвут экономическую базу антиперестроечных сил, но и обеспечат самоликвидацию этой паразитирующей части нашего общества.

Не будут приняты такие меры, меры экономические по своему содержанию и политические по их значению, а также жесткая регламентация контроля за их соблюдением, встанет вопрос уже не о судьбах перестройки, а о судьбах нашего государства вообще. (Заметим в скобках, что именно второй подтекст звучит все явственнее, в том числе и в некоторых официальных выступлениях.)

О. МЯЗДРИКОВ, профессор
Ленинград

«ИСКУССТВО ЛЕЗЛО В ПАРКИ И КВАРТИРЫ...»

Такое случается в истории не в первый раз, когда собрание друзей становится явлением культуры.

Так было в пушкинском лицее.

Так было в начале века на знаменитой «башне» Вячеслава Иванова.

Так было в послевоенные годы, когда в подмосковном барачном поселке Лианозово стала собираться молодежь: начинающие художники, поэты, просто молодые люди с идеями, ищущие общения и единомышленников. С человеческой точки зрения, их содружество было естественным. С точки зрения тоталитарного режима — возмутительным...

Одним из первых в Лианозове появился Генрих Сапгир. Худощавый пятнадцатилетний юноша, сочиняющий стихи. Все родные у юноши находились на фронте. Дома у него не было.

Теперь у Генриха Вениаминовича Сапгира дом есть. В нем на стенах висят красивые картины его друзей. У него есть семья. Он уже не худ. Не молод. И лишь по-прежнему сочиняет стихи.

— Генрих Вениаминович, вы теперь обладатель прекрасной коллекции: Оскар Рабин, Илья Кабаков, Виктор Пивоваров, Эрнст Неизвестный...

— А вы еще не видели, что у меня в папках хранится. Потрясающие вещицы Евгения Кропивницкого, Валентины Кропивницкой, Лидии Мастерковой...

— Вы все это специально собирали?

— Да нет, как-то само собой собралось. Это же все мои друзья. Мы все были когда-то одной командой... Все — «лианозовцы».

— Сейчас искусствоведы много говорят и пишут о «лианозове» как о необычном явлении в культуре. Но, мне кажется, что, несмотря на попытки разложить это искусство по полочкам, подогнать его под теории и концепции, найти его истоки и корни, а также выявить влияния и взаимодействия, «лианозово» остается какой-то загадкой, не раскрытой никем.

— Правда?.. Вам тоже так кажется?.. Знаете, и для меня «лианозово» — загадка, хотя я сам родом оттуда.

— Но расскажите тогда по крайней мере, что это было — новое направление в искусстве?

— Если быть точным, «лианозово» началось не в Лианозове, а в райцентре Долгопрудный, получившем название от старой помещичьей усадьбы «Долгие пруды» в двух остановках от Лианозова, если ехать на электричке от Савеловского. Мы совершали когда-то этот путь ежедневно, иногда по нескольку раз на дню. Могу повторить его хоть с закрытыми глазами. Мы спускались с перрона, шли через березовую рощу и поле к бывшей помещичьей усадьбе с огромным запущенным парком. Слева от дороги как по какой-то нелепой случайности возникали уродливые строения и сараи. Здесь в мрачном двухэтажном бараке, напоминающем казарму, в белой чистой келейке жил Евгений Леонидович Кропивницкий с женой Ольгой Ананьевной Потаповой, дочерью Валей и сыном Львом. Все они были художниками. Но не это удивительно. Удивительным был сам глава семьи — Евгений Леонидович, который соединял в себе два таланта — художника и поэта. Кем он был в большей степени — художником или поэтом, сказать трудно. Но он себя считал больше поэтом...

— Евгения Леонидовича Кропивницкого многие называют Учителем (вот так, с большой буквы) «лианозовской школы». Что это была за школа, и каким премудростям учил вас Кропивницкий?

— Во-первых, Евгений Леонидович был профессиональным педагогом. Он вел изостудию в Доме художественного воспитания. Но не это главное. Главное — его личность.

Никакой «лианозовской школы» не было. Мы просто общались. Зимой собирались, топили печку, читали стихи, говорили о жизни, об искусстве. Летом брали томик Блока, Пастернака или Ходасевича, мольберт, этюдник и уходили на целый день в лес или в поле. Евгений Леонидович писал этюды с каким-то необычайным упоением, с любованием природой, по многу раз варьируя один и тот же сюжет, как делали когда-то японцы. Он был из той породы художников, которые любили писать для своего удовольствия с натуры. Сейчас, по-моему, такого уже почти нет.

Ему вообще была присуща эстетика во всем. Например, он делал удивительные по красоте и мастерству рукописные сборники. Сам их аккуратно переплетал, оклеивал ситцем. Он был музыкален, любил напевать разные арии и даже, как говорили, в юности сочинил оперу «Киребеевич», которая очень нравилась композитору Глазунову.

Пройдя эти «платоновские академии» общения, мы научились главному — определять, что хорошо в искусстве, а что плохо. Это касалось и поэзии, и живописи, и прозы, и музыки — искусства в целом, как некой единой, неделимой субстанции. Культура входила в нас совершенно естественно, без всяких специальных занятий.

Недавно художник Виктор Пивоваров сказал мне, глядя на его натюрморт: «Вот мы все умрем, а самым ценным останется то, что сделал Евгений Леонидович...» Не знаю, возможно, так и будет...

Может быть, я рассказываю о нем слишком возвышенно. Наверное, и у него были свои недостатки, но мы их просто не замечали. Поймите, мы в то время были подростками, часто очень одинокими и ранимыми. Вот, познакомился я в изостудии Кропивницкого с Оскаром Рабиным. Как тогда жил Оскар? Родителей у него уже не было в живых. Он жил один в комнатенке в Трубниковском переулке с полубезумной теткой, которая то появлялась, то куда-то исчезала. Оскар жил на продовольственные карточки и часто голодал. Когда мы с ним подружились и я переехал к нему, нам вдвоем стало легче. Мы вместе бродили по Москве. Вместе какими-то разными способами зарабатывали деньги. Почему-то мы тогда безумно увлекались Лермонтовым. Оскар рисовал мистические картинки. Я писал мистические стихи... И все-таки мы ощущали свою бездомность и поэтому дневали и ночевали у Евгения Леонидовича, который никому никогда не отказывал.

— О Евгении Леонидовиче ходит много легенд. Одна из них рассказывает, что после хрущевского разгона выставки в Манеже, его исключили из МОСХа за формализм в искусстве. А через два года неожиданно решили восстановить. Его пригласили в партком и стали задавать разные вопросы. «Кто ваши любимые художники?» — спросили его. Он ответил: «Рублев, Суриков, Врубель и Кандинский». «Рублев, Суриков — это хорошо. Но при чем здесь абстракционист Кандинский?» «Сурикова я для вас назвал,— рассердился старик.— А если честно, то люблю Рублева и Кандинского». Конечно, с такими убеждениями в Союзе художников делать было нечего!..

— Я тоже слышал эту историю. Возможно, это и правда. Но, если быть точным, исключили его из МОСХа за «организацию формалистической лианозовской группы» и «устройство неофициальной выставки», как гласило присланное ему письмо из Союза художников. Правда, какой выставки, при этом не указывалось. Может быть, потому, что ее и не было. Да никакой «группировки» тоже не было. А были родственники и друзья, которые занимались искусством.

Но, надо сказать, Евгений Леонидович особо не грустил по поводу его исключения. В нем было царственное пренебрежение ко всему официальному в жизни, ирония к людям, мнением которых он не особо дорожил. Например, у него есть такое стихотворение о некоем художнике Замараеве:

Приходил художник Замараев,
Не одобрил живопись мою...
И стою один я у сараев,
И стихи печальные пою.
Поглядел художник Замараев
И нашел, что все совсем не так.
Объяснял мне долго Замараев,
Что писать мне следует и как.
Я стою печальный у сараев
И стихи печальные пою.
Караул! Художник Замараев
Не одобрил живопись мою.

— Но все это было в Долгопрудном. А откуда же возникло название «лианозово»?

— Все по порядку. Сначала ездили к Евгению Леонидовичу мы с Оскаром. Потом появился поэт Игорь Холин, с которым мы подружились, а потом и участвовали вместе в альманахе Алика Гинзбурга «Синтаксис» — первом самиздате. Потом появился Всеволод Некрасов, к тому времени уже вполне сложившийся поэт. Потом из Харькова приехал Эдик Лимонов. Рядом с Евгением Леонидовичем жил художник Вечтомов. Он дружил с художниками Владимиром Немухиным и Лидией Мастерковой. Видите, как обрастает круг...

А потом Оскар женился на дочери Кропивницкого Вале и переехал в Лианозово. И я поселился неподалеку. Так появился второй центр общения, второй подмосковный культурный центр. К Рабину стала ездить вся Москва. Я уже и не помню, кого я где встречал — то ли в Долгопрудном, то ли в Лианозове. Приезжали коллекционер Костаки, профессор-шекспировед Леонид Пинский, поэты Геннадий Айги, Борис Слуцкий, Леонид Мартынов, из Ленинграда — Иосиф Бродский, Евгений Рейн, Глеб Горбовский, приезжали Илья Эренбург, Святослав Рихтер. Кто еще?.. Всех не припомнишь. Ой, боюсь, будут обиды...

Шел поток людей — студенты, инженеры, врачи, появлялись какие-то таинственные личности без определенных занятий.

В 1955 году вернулся из лагерей Лев Кропивницкий и поселился неподалеку от отца в бараке.

— За что он сидел?

— Он вернулся с войны, пошел учиться в институт. Но проучился недолго, потому что попал в какой-то «черный» список, «кто надо» понес этот список «куда надо», и целая группа студентов загремела в лагеря. Ну, конечно же, за подготовку покушения на Сталина. Вышел он на свободу только через девять лет.

— Простите за прямой вопрос: на что вы все жили?

— Каждый устраивался как мог. Я, например, работал в скульптурном комбинате Художественного фонда СССР техником-нормировщиком. Оскар работал десятником по погрузке и разгрузке вагонов. Под его начальством работали расконвоированные. Конечно, заработки были небольшие, но их вполне хватало на жизнь, учитывая наши невысокие требования. Что же касается Евгения Леонидовича, то он вообще был аскетом и в быту, и в творчестве. Он прожил жизнь, не обрастая вещами. У него есть небольшие стихотворные опусы, в которых он говорит, что вещи — это лишнее, они лишь отягощают жизнь человека.

— Можно привести много примеров из истории, когда художники проявляли себя как поэты, а поэты как художники. Видимо, в самой природе художественного и поэтического творчества заложено нечто общее. Это приводило к возникновению содружеств поэтов и художников. Не

ОГОНЁК

Евгений КРОПИВНИЦКИЙ

ПАРНИ

Бесшабашно праздные
Бродят парни разные,
Речи их несвязные,
Шутки несуразные,
Действия опасные.

Ходят спотыкаются,
Пьянству обучаются,
Выпив — улыбаются
Или задираются.

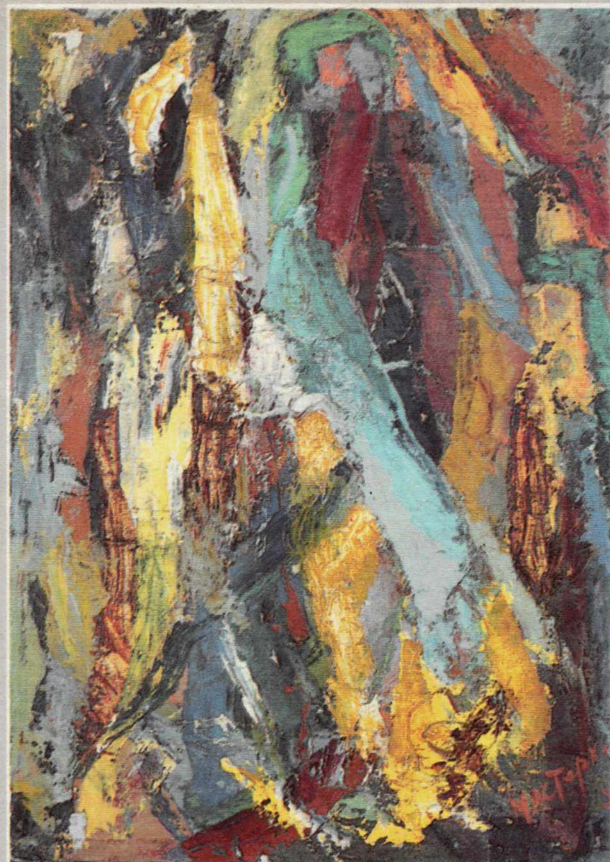
Матерно ругаются,
Яростно сражаются,
Морды разбиваются,
После — слезно каются,
В результате маются,
В общем, наслаждаются.

8 августа 1952

* * *

Вот пристань. И ходко
Идут пароходы;
Моторная лодка
Разрезала воды.
В палатке красотка
И надпись «Крем-сода».
И пиво, и водка.
И много народа.

1938



Лидия Мастеркова (без назв.), начало 60-х годов

Лев Кропивницкий. «ФЛОР И ЛАВР», 1967



Ольга Потапова.
«КОМПОЗИЦИЯ», 1960

Евгений Кропивницкий. «ДЕВУШКИ», 1976



Всеволод НЕКРАСОВ

Льву Кропивницкому

выпустили свет
на свежий воздух
выпустили всех нас
на свет
наконец-таки
счас только
и поосвещаться
это счастье
то что счас
фонари горят
смотри говорят
все по лавочкам сидят
и на лампочки глядят
(пока по карточкам едят)
освещаются
и обещаются все
не забывать
счастье есть
есть счастье есть
вообще есть счастье
вообще в Москве
в электричестве
и в сливочном масле

и электричество
увеличивается
и увеличивается
иллюминация
администрация

Ян САТУНОВСКИЙ

* * *

Рабин: бараки, сараи, казармы.
Два цвета времени:
Серый
И желто-фонарный.
Воздух
Железным занавесом
Бьет по глазам; по мозгам.
Спутница жизни — селедка.
Зараза — примус.
Рабин: распивочно и навынос.
Рабин: Лондон — Москва.



Владимир Немухин. «ВОСПОМИНАНИЕ О ЛИАНОЗОВЕ», 1989

Николай Вечтомов. «РЕКВИЕМ», 1958—1980





Владимир Немухин. «ГОЛУБОЙ ДЕНЬ», 1959

Игорь ХОЛИН

* * *

Л. Мастерковой

Пейзаж прост:
Улица,
Мост,
Дом.
В нем уют,
Добытый с трудом,
Горбом.
Муж лег на диван.
Уснул.
Газета выпала из рук:
Читал про Ливан
И Ирак.
Рядом жена.
Живот растет,
Думает:
«Вдруг война,
Заберут,
Убьют!»
Обняла его,
Зарыдала...
Он
Бормотал сквозь сон
Что-то об экономии металла.

* * *

На Марсе
В городском парке
На скамейке
Сидит
Существо
Напоминающее краба
Подошел марсианин
Сказал
Вот это баба

Оскар Рабин. «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ», 1964



зря Пикассо говорил: «Мы и наши поэты». Что объединило вас с художниками? Определенные убеждения в искусстве? Общее неприятие существующего официоза в культуре?

— Было прежде всего приятие реальности. А отсюда уже неприятие официоза, взирающего на жизнь с высоты пьедестала. Монументальная ложь или сентиментальная ложь в искусстве — в какие бы одежды она ни рядилась — стала скучна всем. И потому должна была родиться новая эстетика.

Мы вдруг увидели, что вокруг нас живет, клокочет, голосит целый мир. Все эти бабы, мужики, инвалиды, заброшенные дети, вся эта яркая Россия, гулящая, пьющая, матерящаяся, зазвучала для нас многоголосием. Помните, как у Маяковского: «...улица корчится безъязыкая, ей нечем кричать и разговаривать». И потому должен был появиться поэт Евгений Кропивницкий. Должен был появиться художник Оскар Рабин. Должен был появиться писатель Веничка Ерофеев.

Это была совершенно новая музыка, и первым, кто ее услышал, был Евгений Леонидович. Именно его стихи, которые потом стали называться «барачными» — о людях, живущих в бараках, о всяких случаях, которые с ними происходили, и натолкнули Оскара Рабина на тематику, которая стала ведущей в его творчестве — изображать оголенную действительность.

«...Смутный, перепуганный, неврастенический мирок встает в холстах художника. Скособоченные дома, кривые окна, селедочные головы, измызганные стены бараков — все это выглядело бы заурядной предвзятостью обывателя, если б не было перемножено с псевдозначительной символикой бессмысленицы...

Пересказывать, что изображено в этих полотнах,— только смеяться, но они вовсе не смешны. Кажется, взвинченность образов вот-вот сорвется на какой-то истерический припадок... Абсурд мысли, эмоций, самой сути художества.

...Полотна Оскара Рабина нашего искусства не касаются ни с какой стороны...

Пример Оскара Рабина — это сама схема: индивидуалистское самокопание, кажущаяся общественная индифферентность, и не успел оглянуться, ты уже на прилавке буржуазной пропаганды — оценен, расфасован и преподнесен в надлежащей упаковке... Думаете, ценят вас эти спекулянты как художников? Плевали они на вас, художников. Вы нужны как политический товар — чтоб бросать вас на поднятие акций буржуазной пропаганды. Вот ваша цена на Западе, и другой цены вам нет...

Уж, конечно, вы считаете себя новатором в искусстве. И аристократом духа. Но ведь новаторство и истинная высота души — это всегда смелость, благородство и честность. В вашем искусстве нет ни первого, ни второго, ни третьего. В нем испуг перед жизнью, в нем человеческая униженность и в нем лживость...»

(Из статьи В. Ольшевского «Дорогая цена чечевичной похлебки». «Советская культура», 1966 г., 14 июня.)

Язык улицы зазвучал и в стихах Игоря Холина и Севы Некрасова, Эдика Лимонова (он писал тогда стихи), Славы Лена, Вагрича Бахчаняна и Яна Сатуновского, который был старше нас, но, придя однажды в Лианозово, нашел там своих друзей и единомышленников. Я тоже первый свой сборник назвал «Голоса».

Если говорить об эстетических убеждениях поэтов-«лианозовцев», то они не были сформулированы. Просто мы одновременно почувствовали, что современная нам официальная поэзия отделилась вообще от первоосновы всякой поэзии, от конкретного события, от предмета, стала выхолощенной, абстрактной, риторичной, «литературной». Мы захотели вернуть поэзии конкретность. Мы сошлись на том, что реальность надо изображать не мифологически, не романтически, а как бы «в упор». Акмеистические и символические ужасы тоже нас не привлекали. Мы увидели ужасы в другом — в быту, в повседневности.

«Москвич И. Холин... обнаруживает вполне определенный вкус к описанию всяческой дряни и мерзости. Где-то муж побил жену, кто-то напился и подрался с собутыльником, нерадивый хозяин расплодил клопов в квартире — ничто не проходит мимо внимания И. Холина. Он скрупулезно фиксирует все эти детали в своем очередном опусе...

Быть может, И. Холин протестует, обличает пороки? Нет, он их коллекционирует. И в этом солидарен с небезызвестным Н. Глазковым, который по простоте душевной признался: «Я на мир взираю из-под столика».

Такова, с позволения сказать, «позиция» и Холина. Он глядит на окружающую действительность с высоты помойки, из глубины туалетной комнаты. Сознательно лишив себя того, что делает человека человеком,— труда, он слоняется возле жизни, брюзжит, изливая желчь в своих плохо срифмованных упражнениях.

Да, именно безделье, тунеядство, привычка жить за счет других приводят к этой «позиции»...»

(Ю. Иващенко «Бездельники карабкаются на Парнас». «Известия», 1960 г.)

— Как вы думаете, почему ваше искусство вызвало такое бурное неприятие властей? Что в нем было опасного? Вы ведь ни к чему не призывали, никому не угрожали, ни на что не покушались и ни на что не претендовали. Вас-то, поэтов, и за поэтов не держали, а художников не считали художниками. Так, шпана в искусстве... Что за дело им было до вас?

— Наше искусство было неприемлемо по своей сути. Оно отражало современную и не очень красивую жизнь. Ведь сами эстетические представления были другими. Искусство выполняло вполне определенную миссию: воспевания существующего порядка вещей и властей предержащих. В столичной жизни на поверхности было полное благополучие и единодушие. А вся эта муть, пьянь, рвань находилась где-то далеко, глубоко, в каких-то подземельях, скрытая за барьерами, заборами, колючей проволокой. Представляете, если бы все это вышло наружу! Мы были потенциальными возмутителями спокойствия.

— Мне кажется, дело не только в том, что изображаемая «лианозовцами» жизнь была некрасива, что она шокировала благопристойный общественный вкус, воспитанный на парадном искусстве. Ваша поэзия была (и остается) для многих непонятной. Люди не приучены слушать «музыку улицы». Она для большинства не представляет интереса. Вот ваше стихотворение «Разговоры на улице», посвященное Евгению Леонидовичу: «Жена моя и теща... Совсем сошли с ума... Представь себе... Сама... Своих двоих детей... Нет главное — коробка скоростей... У нее такие груди... На работе мы не люди... Она мне говорит... А я в ответ... Она не отстает... Я — нет и нет... Оттого что повар и... Перепродает товары... Еще увижу с ним — убью... Мать... Твою... Уважаю, но отказываюсь понимать... Да что тут понимать... Сделал аборт... В ресторане накачался... Не явился на концерт... У бухгалтера инфаркт... Присудили десять лет... Смотрят, а уж он скончался... Я и сам люблю балет...».

Я намеренно процитировала стихотворение не «лесенкой», как положено, а в строку, чтобы показать, как оно сделано. Это обрывки «прозы жизни», уличных фраз, случайно выхваченных из разговоров. За ними — чья-то история, которую можно расписать дальше, чья-то драма, чьи-то радости, чьи-то проблемы... Можно пройти мимо этих чужих жизней и не обратить на них внимания. А для вас все это чрезвычайно важно! Говорят, и Евгений Леонидович ужасно любил, когда ему рассказывают разные житейские истории. В конце концов из этих «мелочей» повседневности и состоит жизнь.

— Искусство, отражающее эту жизнь, не важно, абстрактное оно было или реалистичное, для империи было равно неприемлемым. И мы это хорошо почувствовали, когда начали делать попытки печататься и выставляться.

«Не извращать советскую действительность!

(Из решения совместного заседания партийного бюро и местного комитета комбината декоративно-оформительского искусства с творческим активом.)

Так называемое «творчество» Л. Кропивницкого и Н. Вечтомова также является чуждым нашей идеологии и не может быть приемлемым для советского общества и изобразительного искусства. Их безыдейные произведения не нацеливают советского человека на выполнение задач, поставленных перед советским народом партией и правительством, а, наоборот, идут вразрез с этими задачами изобразительного искусства в деле пропаганды идей партии.

Л. Кропивницкий и Н. Вечтомов также не сделали для себя выводов из статьи, посвященной О. Рабину, пытаясь совместно с ним выступить с работами не в своем коллективе, где они работают (очевидно, боясь объективного осуждения своих товарищей), а в неофициальных выставках, устраиваемых случайными в искусстве лицами.

Партбюро, местный комитет и творческий актив обеспокоены тем, что в рабочем клубе официально подвизается в роли организатора всевозможных выставок некий «поэт» Глезер*, который собирает вокруг себя «непризнанных гениев» типа О. Рабина и ему подобных, скупает абстрактную живопись и устраивает подпольные выставки. Глезер организовал и выставку 12 художников, явившуюся в прямом смысле политической и идеологической диверсией.

Художники О. Рабин, Л. Кропивницкий, Н. Вечтомов явились прямыми участниками и сообщниками Глезера, потерявшими чувство гражданского долга и гражданскую политическую бдительность.

Партийный актив считает опасным и недопустимым дальнейшее влияние Глезера, проповедующего буржуазные идеалы среди молодежи, и строго осуждает его вредную «идеологическую» деятельность.

Совместное заседание партбюро и местного комитета с творческим активом постановляет:

Строго осудить содержание работ О. Рабина, искажающих нашу советскую действительность и наносящих политический и идеологический ущерб нашему обществу.

Строго осудить позицию художников О. Рабина, Л. Кропивницкого и Н. Вечтомова, занятую в искусстве, их двойную жизнь и участие в неофициальных выставках.

Двойная жизнь в искусстве противоречит уставу Художественного фонда и Союза художников и несовместима с задачами и деятельностью комбината.

Предложить художникам О. Рабину, Л. Кропивницкому и Н. Вечтомову решительно порвать со своим буржуазным мировоззрением, не принимать участия ни в каких неофициальных выставках, организуемых «случайными личностями», включиться в выполнение задач, стоящих перед комбинатом и мастерской в юбилейном году» («Московский художник», 1967 г., 26 мая).

* Поэт, переводчик, коллекционер, издатель в Нью-Йорке русскоязычного журнала «Стрелец».

— Известно, что советский человек всю жизнь воспитывался на газетах. И новости узнавал из газет, и об искусстве судил на основании газетных статей (кое-какие из них мы процитировали). Стихов ваших никто не читал. Картин никто не видел. А представление об искусстве «лианозовцев», как о чем-то мрачном, уродливом, безобразном, истеричном, укоренилось в сознании довольно прочно. Но вот сегодня мы смотрим на эти обруганные газетами полотна и никакого ада в них не находим. Наоборот. Мне кажется, что многими художниками, когда они писали эти картины, владела не только ярость, но и очень нежное, чувственное отношение к жизни. Мы читаем стихи. И что там? Злоба? Да нет! Сарказм есть, но продиктованный не высокомерием, а состраданием и теплотой. А больше в них игры, насмешки, совсем неоскорбительной для действительности, даже для гордой советской действительности. При всей внешней жесткости, на мой взгляд, это светлое искусство...

— Мне кажется, вы правы. Оно экспрессивно, поскольку рождено драматизмом духа, но по сути своей оптимистично. Жизнь вообще не любит нытья, а искусство — нытиков.

— Каждый из вас уже давно идет своей дорогой. Наверное, вы уже не нуждаетесь друг в друге, как раньше. Может быть, я преувеличиваю значение того периода вашей жизни, но мне кажется, «лианозово» осталось как бы маяком в прошлом, который время от времени помогает идущим не сбиться с курса...

— Рискну сказать за всех «лианозовцев». Этот маяк напоминает прежде всего о том, что в жизни главное не успех, не всенародное признание, а самосовершенствование.

— И все-таки как закончилось «лианозово»? Почему распалась «школа»?

— Во-первых, Рабин переехал из Лианозова в Москву. Старые одноэтажные бараки сломали и построили новые многоэтажные на Большой Черкизовской, где Оскару с Валей дали квартиру.

А потом наступили новые времена. Искусство стало пробиваться из подполья к свету. Начались первые выставки — сначала на Большой Коммунистической. Потом последовало Измайлово, выставка в павильоне пчеловодства на ВДНХ. Художников стало много. Поэтов стало много. И «лианозово» как бы стало исчезать в этом многолюдье.

Мы остались друзьями. Но каждый из нас почувствовал свое одиночество. Просто потому, что те из нас, кто действительно становился серьезным художником, неминуемо обрекали себя на одиночество. Одиночество — участь любого художника. «Ты: царь, живи один»,— писал Пушкин.

А потом поднялся ветер эмиграции. Мы тогда говорили так: «Андропов предоставляет нам выбор: на запад или на восток». Так и получалось. Это была мудрая государственная политика. Считайте, что за десяток лет Андропов с интеллигенцией расправился полностью. Кого в лагеря, кого за кордон.

Но вся штука состоит в том, что можно расправиться с людьми, можно растоптать их судьбы, но культуру не задушишь. Потому что она существует не только через художников, а как бы в самом потоке жизни. А как можно остановить жизнь?..

Наша судьба — и тех, кто сидел, и кто эмигрировал, и кто счастливо избежал этих трагедий,— все же, на мой взгляд, была менее драматичной, чем судьба первой послереволюционной эмиграции. Те были нежными растениями, которые легко гибли. А мы оказались устойчивыми. Сколько нас ни колошматили, все равно мы крепко вцепились в землю, мы хорошо знали, что такое местный климат, и мы выжили...

Беседу вела
Наталья ЗАГАЛЬСКАЯ

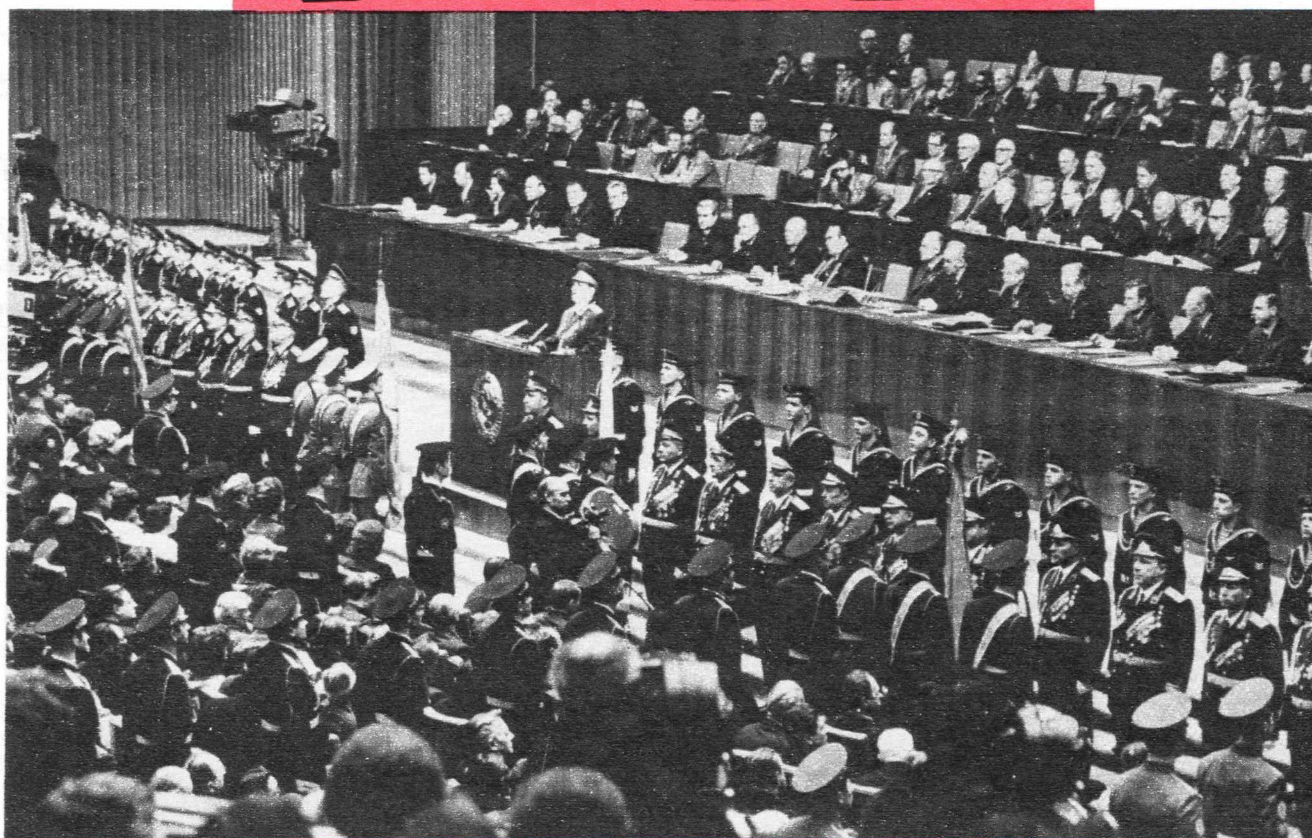
А. АВТОРХАНОВ

ИЗ ИСТОРИИ СОВРЕМЕННОСТИ

XXV СЪЕЗД — СЪЕЗД БРЕЖНЕВА

1. НОВЫЙ СТИЛЬ

Мы это видели по телевизору. Крупными, размеренными шагами солдафона, с напыщенным взглядом вельможного сановника человек вышел на трибуну и начал читать с листа: «Пленум единогласно избрал Генеральным секретарем ЦК КПСС товарища Брежнева Леонида Ильича». Бурные аплодисменты отлично выдрессированного зала переходят не то что в овацию, знакомую нам еще со сталинских времен, а в нечто вроде девятого вала: пять тысяч человек в зале и тысячи гостей в ложах, как по команде, вскакивают с мест и неистово кричат: «Ура, ура, слава, слава!..» Так продолжалось бы долго, если бы оратор на трибуне властным движением руки в сторону президиума не сделал жеста, означающего «Хватит, садитесь!». Оратором на трибуне был сам Брежнев. Только после сообщения о собственном избрании он объявил состав Политбюро и Секретариата ЦК, везде называя свое имя не по алфавиту, а первым. Между тем порядок оглашения результатов выборов во всей истории КПСС до Брежнева бывал обратным. Обратным он должен был быть и сейчас, ибо по Уставу партии (параграф 38) в иерархии исполнительных органов партии ее генеральный секретарь занимает последнее место: на первом месте стоит Пленум ЦК, на втором — Политбюро, на третьем — Секретариат и только на четвертом месте — генсек, подчиненный всем этим трем органам. Тогда чем объяснить поведение генсека — притуплением элементарного чувства личной скромности или желанием продемонстрировать, что эра Политбюро кончилась и отныне он единоличный диктатор партии и государства? Ни то, ни другое. Он играет роль в пьесе того политического театра, который называется «съезд партии», но который перестал им быть с тех пор, как перестала существовать сама партия. Пьесу написал не он — ее написали безымянные авторы из «треугольника диктатуры»: партаппарат, политическая полиция и армия. Режиссер пьесы — Политбюро, а генсек — лишь ведущий актер. Конечно, всезнающие кремлевские астрологи на Западе будут вещать в один голос: Брежнев теперь единоличный хозяин. Как это ни покажется странным, именно такую цель — создать во внешнем мире впечатление о всемогуществе генсека — и ставили перед собою авторы и режиссеры пьесы, превращая XXV съезд в оргию славословия по адресу Брежнева. Вопреки всем заклинаниям идеологических шаманов партии коммунистическая диктатура не может существовать без «культа» ее вождей. Разница только в том, что все ее бывшие вожди завоевали право на «культ» либо своим интеллектуальным превосходством (Ленин), либо чудовищным масштабом своих преступлений (Сталин), либо разоблачением на весь мир этих преступлений (Хрущев), а Брежневу, не имеющему ни одного из этих преимуществ, искусственно создают «культ», чтобы превратить генсека в надежный инструмент в руках олигархии, достаточно авторитетный во внутренней политике и столь же импозантный для внешнего представительства ее интересов. Поэтому считать нынешние собрания партийной элиты «съездами» партии — явное недоразумение. Последним действительным съездом партии был X съезд (1921 год), на котором еще можно было выражать мнения и взгляды, расходящиеся с аппаратом ЦК («рабочая оппозиция», оппозиция «децистов»). Именно на этом съезде Ленин объявил в партии продолжающееся и поныне перманентное «осадное положение», запретив в ней всякое инакомыслие, расходящееся с волей ЦК (резолюция «О единстве партии»), вручив тем самым будущему генсеку Сталину то безошибочно действующее орудие, при помощи которого генсек свел на нет всякое значение суверена партии — партийного съезда, пока вообще не отказался от практики созыва съездов (Устав 1939 года требовал обязательного созыва съезда не реже одного раза в три года, но последний, XIX съезд партии при Сталине проходил через 14 лет после XVIII и то вопреки воле диктатора). После Сталина съезды начали созывать аккуратно, но на



А. Авторханов, один из самых авторитетных на Западе политологов, не принадлежит к числу сторонников нашей политической и государственной системы, но взгляд его очень внимателен, анализ вдумчив. За десятилетия он издал целый ряд книг, выдержавших много переизданий и переводов, пытаясь объяснить западному читателю, что же произошло с великим народом и великой страной, как дошли мы до жизни такой. Публикуемый отрывок из книги «Сила и бессилие Брежнева»* заставляет о многом задуматься в преддверии партийного съезда. Именно теперь, когда мы пытаемся изменить и выстроить по-новому свою жизнь, особенно необходимо умение оглянуться и понять прошлое...

В книге А. Авторханова, написанной в 70-е годы, предпринята, по существу, первая попытка серьезного политологического исследования эпохи Брежнева. Надо полагать, нынешние и будущие историки сумеют дополнить, а, быть может, и скорректировать некоторые, содержащиеся в них факты, положения и гипотезы.

* А. Авторханов. Сила и бессилие Брежнева. «Посев». 1979. Текст печатается с сокращениями, согласованными с автором.

самом деле это не съезды (называть их этим термином — политический анахронизм), а торжественные парады предельно вымуштрованных партократов и государственных бюрократов вкупе с энным количеством статистов из рабоче-колхозной аристократии — для «общенародного» фона. Поэтому вполне естественно, что эти собрания и не работают так, как съезды партии работали при Ленине или как съезды политических партий (в том числе и коммунистических) работают на Западе. Не создаются секции или рабочие группы, не устраиваются дискуссии по спорным или неясным вопросам, потому что спорных и неясных вопросов нет, все вопросы задолго до открытия съезда решены мудрой олигархией. Заботливый ЦК, взяв всю эту работу на себя, освободил каждого делегата съезда от тяжкой обязанности думать своей головой. Более того, аппарат партии позаботился выделить бойких борзописцев для составления речей тех, кто выступит на съезде. В них сказано все: какой у нас мудрый ЦК, выдающийся генсек и величайшие успехи; что сверх этого — то от лукавого...

Еще одно отличает брежневские съезды от старых съездов. Ленин, как и все политики его школы, никогда своих докладов не писал, он составлял тезисы и по ним импровизировал. Впервые практику письменных докладов и прений ввел Сталин, но свой собственный доклад писал он сам, пользуясь материалами аппарата ЦК. Хрущев умел импровизировать, но не умел писать. Поэтому его доклады писали другие, такие же бесталанные и скучные, как и сейчас (кроме эпохального доклада о Сталине на XX съезде), зато его импровизации, пусть внешне и необтесанные, всегда были дерзкие, вызывающие, полные народного юмора, со ссылками больше на Библию, чем на Маркса и Ленина. Для Брежнева доклады пишет целый штаб высококвалифицированных идеологических экспертов, у которых отсутствие творческой мысли и литературного блеска вполне компенсируется безбрежностью многословия и скрупулезностью бюрократических формулировок. Авторы отчетного доклада ЦК как бы намеренно, вопреки Некрасову, стараются, чтобы здесь мыслям было тесно, а словам просторно. В довершение ко всему генсек читает этот доклад так скучно и монотонно, с полнейшим внутренним безразличием к читаемому тексту, что вы не совсем уверены, понимает ли он сам то, что читает...

Многословие генсека совсем не означает богатства его словарного фонда. Напротив, лексикон его крайне ограничен и стандартен, но зато каждый политический термин или даже юридическая категория в этом лексиконе может иметь не только двойственное, но и прямо противоположное значение по отношению к общепринятому понятию. Это всеми отмечено (например, двойственность языка Кремля в международной политике и дипломатии). Но то же самое действительно и в отношении многих понятий партийного жаргона и во внутренней политике. Приведем элементарные примеры: «бороться за усовершенствование социалистической демократии» вовсе не значит, что надо расширять рамки «демократии», совершенно напротив — это значит еще больше сузить ее рамки, усовершенствовав тотальность бюрократической опеки государства над своими гражданами. «Поднять руководящую и направляющую роль партии в советском обществе» — это значит, что партия призвана и обязана вмешиваться в личную жизнь не только коммунистов, но и беспартийных граждан (например, в жизнь родителей, воспитывающих своих детей в духе общечеловеческой морали и религиозности)...

После сказанного о стиле партийных съездов и двуличии партийного жаргона приступим к анализу некоторых узловых проблем доклада Брежнева на XXV съезде.

2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КУРС: НЕОСТАЛИНИЗМ

Несмотря на всю призрачную внешнюю гармонию, режим Брежнева полон внутренних противоречий между кастовыми интересами трех столпов, на которых он держится: между партаппаратом, политической полицией и армией — с одной стороны, между интересами власти в целом и материальными интересами народа — с другой. Вкратце кастовые противоречия таковы: став после свержения Хрущева равноправными соучастниками «треугольника» верховной власти, полиция старается еще больше расширить свою власть (иначе говоря, восстановить свой старый, сталинский статус, когда она находилась вне контроля партаппарата), а армия, сыгравшая ведущую роль в свержении того же Хрущева, требует все большего и большего поглощения военной машиной доли социальной продукции. Партаппарат не может ни выпустить политическую полицию из-под своего контроля, ни бесконечно уступать военным, не совершив самоубийства. Противоречия между режимом и народом уже другого порядка — это социальные противоречия, вытекающие из самой структуры советского общества. Это противоречия между новоклассовой, советской буржуазией в лице многомиллионной партийно-государственной бюрократии и трудящимися, производительными классами, борющимися за справедливое распределение доходов национальной продукции страны...

Но нынешний советский человек живет не хлебом единым. Это уже не дореволюционный малограмотный или даже неграмотный труженик. Хотя и ценою бесчеловечных жертв, великая индустриальная революция все же перепахала старую, мужицкую Русь, а вызванная ею культурная революция радикально изменила общее лицо народа. СССР стал страной сплошной грамотности и многомиллионной интеллигенции с неистребимой жаждой приобщения к научно-техническим, а главное — к духовным и гуманистическим достижениям мира, к западной цивилизации. Возрастающее давление этого интеллектуального слоя советского общества составляет другой вид противоречий между властью и народом. Последнего противоречия власть больше всего и опасается, ибо она не без основания считает, что ферменты разложения существующей системы рекрутируются из среды интеллектуалов, яркими представителями которых и явились в 60-х годах участники Демократического движения и Движения прав человека во главе с академиком Сахаровым и генералом Григоренко. Конечно, партия приняла участие в спонтанном процессе общенародной культурной революции, но она не создала вопреки своим стараниям ни новой, коммунистической культуры, ни новых духовных ценностей, ни советского народа как новой национально-социальной общности. Все нации страны, а их больше ста, несмотря на всю антинациональную вивисекцию партийных идеологов, за эти шесть десятилетий удивительным образом сохранили в абсолютной неприкосновенности свою этническую аутентичность. Тем самым обанкротилась как утопия Ленина о слиянии всех наций, так и русификаторская практика великодержавных коммунистических ассимиляторов. Таково четвертое противоречие — противоречие между советским идеократическим колониальным режимом нового типа и угнетенными народами, ярким проявлением чего и явилось национальное движение украинцев, евреев, крымских татар, прибалтийских народов, националистов Кавказа. Таковы структурные, органические противоречия, заложенные в характере самой системы, ослабление, а тем более ликвидация которых невозможны иначе, как коренным изменением природы режима. Но есть в советской системе также функциональные противоречия, которые можно было бы ликвидировать изменением направления общей политики и пересмотром приоритетов экономической политики. К этой категории противоречий в области экономики я отношу: 1) бич и душитель хозяйственного самотворчества народа — сталинский Госплан и всю его безмозглую бюрократию (вопреки басням пропагандистов планируют и капиталисты, но в центре их планирования стоят интересы человека, а не молох-партия); 2) антинародную доктрину Сталина о приоритете интересов власти перед интересами человека, выраженную в известной формуле: «преобладающее развитие тяжелой промышленности перед легкой промышленностью»; 3) нежелание отказаться от окончательно обанкротившейся колхозной системы, являющейся причиной и следствием деградации сельского хозяйства; 4) беспримерную в истории России, невозможную при парламентской демократии и при наличии свободной печати тотальную коррупцию аппарата власти: наверху — как узаконенные привилегии «нового класса», внизу — в виде присвоения государственной собственности, взяточничества, подкупа, продажности бюрократов при их полной круговой поруке.

Рассмотрим на этом общем фоне жизни в СССР ту часть доклада Брежнева, которая посвящена внутренней политике. Прежде всего доклад полон казенного оптимизма — как велики наши успехи, какой хороший у нас народ, какая славная наша партия, какие мудрые ее секретари! В то же время поражает отсутствие открытой постановки острейших проблем, которыми живет страна. Это, однако, не значит, что острые проблемы руководству неизвестны и его не тревожат. Сам же Брежнев заметил: «Да, мы знаем, что не все проблемы еще решены. Лучше всех наших критиков знаем мы свои недостатки, видим трудности» («Правда», 25.2.76, стр. 9). Но о них Брежнев говорит на партийном жаргоне, предлагая те же самые старые паллиативные меры, которые уже тысячу раз испробованы безо всякого влияния на общую ситуацию. Экономическую эффективность и социальную справедливость каждого строя, независимо от того, как он сам себя называет — «капитализмом», «социализмом», «национал-социализмом» или иначе, надо мерить по тому, насколько высок стандарт материальной жизни его жителей и как широк диапазон их гражданских прав и духовных свобод. Доклад Брежнева, по существу, был отчетом советского социализма за почти 60 лет его абсолютного господства в политике и экономике. Каковы же результаты? По производству некоторых видов стратегического сырья и по качеству и количеству военной индустрии СССР вышел на первое место в мире, а по количеству и качеству гражданской индустрии далеко отстает от Запада. Зарплата не перешагнула еще за сталинский «железный максимум». Брежнев обещал повысить эту зарплату в 1980 году на 16—18 процентов, то есть максимум до 170 рублей. Но фактически реальная зарплата останется на нынешнем уровне, ибо, как подсчитали специалисты, в СССР существует скрытая инфляция не менее 5 процентов, а на колхозном рынке продукты продаются на 60 процентов дороже, чем у государства.

Вопреки всем известным фактам, оказывается, «расцветает» и советское сельское хозяйство: «...сельское хозяйство продолжало наращивать производство. По сравнению с восьмой пятилеткой среднегодовой объем всей продукции был выше на 13 процентов. На 14 миллионов тонн увеличился среднегодовой сбор зерна. Возросло производство мяса, молока и других продуктов животноводства» (там же, стр. 5). (Между тем в СССР широко гуляет анекдот: «Хлеб сеем в СССР, а урожай собираем в США».) Доход колхозников обещают увеличить на 24—27 процентов (нынешняя денежная зарплата колхозника — 55 рублей).

В прошлой, девятой, пятилетке объявили (по крайней мере на бумаге) приоритет развития легкой промышленности перед тяжелой, поэтому и произошло определенное улучшение в снабжении населения товарами и продуктами. Но теперь новая, десятая, «юбилейная», пятилетка вернулась к сталинскому курсу — к преимущественному развитию тяжелой промышленности. Вот данные Косыгина: прирост продукции за 1976—1980 годы составит по группе «А» (тяжелая промышленность) — 38—42 процента; по группе «Б» (легкая промышленность) — 30—32 процента, то есть прирост легкой индустрии будет на 8—10 процентов меньше прироста тяжелой индустрии. Почему же партия отказывается от продолжения курса по поднятию стандарта жизни народа и возвращается к Сталину? Потому что между хлебом и ракетами существует прямая связь (недаром в СССР говорят: «Мы запустили спутник и сельское хозяйство»). Невозможно то и другое иметь одновременно, если ты себе ставишь целью не подготовку к обороне, а подготовку к наступательной войне, да еще финансируешь «мировой революционный процесс»...

Об общеизвестных на Западе гигантских военных расходах СССР Брежнев не сказал ни слова. Промолчал он и о том, во что обошлась Советскому Союзу победа коммунистов во Вьетнаме, Лаосе, Анголе, сколько ему стоят поддержка Кубы, авантюры компартии в Португалии, финансирование локальных войн в Азии и Африке, содержание коммунистических партий и их попутчиков в других странах. На них ведь тоже идут миллионы и миллиарды за счет самых насущных жизненных интересов советских людей...

Такова связь между хлебом и ракетами, между низким стандартом жизни советских граждан и чудовищным аппетитом советской военной машины. Но есть и более глубокие внутренние причины общего перманентного кризиса недопроизводства советской экономики — это органический порок самой хозяйственной системы. «Хозяйство без хозяина» — вот короткое обозначение этого порока. Сошлемся на общеизвестные факты: на Западе, при «капитализме», в три-четыре раза выше эффективность производства, чем в СССР. 4 миллиона фермеров США кормят больше народа, чем 30 миллионов колхозников. Поэтому стандарт жизни западного человека в три-четыре раза выше, чем советского (странная ирония судьбы: Кремль называет свой строй «развитым социализмом» на переходе к коммунизму, а по стандарту жизни своих граждан СССР стоит на предпоследнем месте даже среди «неразвитых социализмов» в восточном блоке, позади него — только Румыния). Да, на Западе есть и безработные, но западные безработные получают пособие, превышающее зарплату среднего советского рабочего, и содержат на это пособие семью, а получать его ездят на собственных машинах. Кстати, все это иллюстрирует банкротство того знаменитого «железного закона капитализма» Маркса, которому и до сих пор учат в партшколах советских граждан: развитие капитализма сопровождается абсолютным обнищанием пролетариата, господствует закон пауперизма, который Маркс назвал абсолютным всеобщим «законом капиталистического накопления». Исчезает якобы средний класс. Образуются два полюса: полюс нищеты и полюс богатства. Все это оказалось фантазией. Развитие пошло в обратном порядке. Надо быть заведомым лицемером или безнадежным невеждой, чтобы отрицать следующую закономерность: чем развитее и выше уровень капитализма в той или иной стране, тем разностороннее и выше уровень жизни трудящихся, а чем развитее и выше уровень «социализма», тем ограниченнее и ниже уровень жизни его граждан. Причины этого две,

причем одна из них была найдена еще Лениным. Он объявил первый опыт большевиков по непосредственному переходу к коммунизму порочным — ввиду его хозяйственной неэффективности. Причину последней Ленин видел в том, что не было у советских людей личной материальной заинтересованности, поэтому он ликвидировал «военный коммунизм» и ввел нэп. Вот тогда-то и началась «золотая эра» советской экономики: магазины были полны товарами и продуктами, а в советском сельском хозяйстве в первый и последний раз был кризис перепроизводства продукции. Хлеба было так много, что XII съезд партии (1923 год) вынес постановление направить все усилия на поиск внешнего рынка для советского хлеба. Так продолжалось лет шесть-семь. Была коммунистическая диктатура, «командные высоты» большой индустрии находились в руках государства, но мелкая и средняя легкая индустрия, как и индустрия сервиса, была объявлена свободной, то есть частной. Земля формально все еще считалась национализированной, но она была отдана крестьянам на началах трудового пользования. Крестьянин был полным хозяином плодов своего труда, а государству отдавал только заранее определенный продовольственный налог. Излишки он свободно продавал на рынке. В глазах Сталина у этого порядка был один существенный недостаток: при нем государство зависело от крестьян — надо было сделать так, чтобы крестьяне зависели от государства. Поэтому он в конце 20-х годов ликвидировал нэп и ввел продолжающееся и поныне государственное крепостное право. Заодно он ликвидировал и свободную индустрию. С тех пор советская экономика никогда не выходила — и в городе, и в деревне — из кризиса недопроизводства самых необходимых для населения товаров и продуктов питания.

Не менее важна и вторая из двух вышеупомянутых причин — тотальная бесхозяйственность партийных хозяев. Это стало настолько общим явлением, что десятая пятилетка объявлена «пятилеткой эффективности», даже ценой снижения общих темпов развития в сравнении с предыдущими пятилетками. Но как можно объявить один лишь короткий период «эффективным», если вся хозяйственная система работает неэффективно?..

Как же Брежнев собирается выйти из этого общего советского хозяйственного кризиса недопроизводства, неэффективности, бесхозяйственности? Брежнев, как и его соратники,— политик с бюрократическим образом мышления. Поэтому он и панацею от всех зол советской экономической системы ищет не в сфере политической и социальной, а в сфере бюрократической и управленческой. Поэтому он не нашел нэп, как Ленин, а нашел «нэм», «Новый экономический механизм», заимствованный, по крайней мере терминологически, у венгров (у них новый экономический курс так и называется — «новым экономическим механизмом»). Как на деле будет выглядеть вновь созданный «хозяйственный механизм», ни Брежнев, ни Косыгин не доложили съезду. Брежнев сказал, что разработаны и утверждены «генеральные схемы управления», «мы можем и должны ускорить перестройку хозяйственного механизма» (там же, стр. 6). Между тем альтернатива нынешней бесхозяйственной системе только одна — коренной поворот во всей экономической политике наподобие нэпа. Это значит: сохраняя в руках государства «экономические высоты», провести денационализацию легкой промышленности, приватизацию сферы обслуживания, деколлективизацию сельского хозяйства, легализацию рынка. Эта программа выглядит антисоветской только через сталинские очки, но, сняв очки и присмотревшись к «сокровищам ленинизма», каждый коммунист легко увидит, что тут речь идет о ленинском нэпе, который Ленин и партия объявили в свое время программой «всерьез и надолго», программой на целую «историческую эпоху». Иного выхода у Кремля нет. То, что сейчас Брежнев предлагает, обречено на провал так же, как провалились на наших глазах бесчисленные «реорганизации» Хрущева.

3. ПАРТИЯ И ОБЩЕСТВО

Советских коммунистов обвиняют, что у них в стране только одна партия. Это не совсем точно. У них много «партий», только они сидят, наподобие русской куклы «матрешки», последовательно одна внутри другой. Сначала идет собственно сама «большая партия» — около 16 миллионов членов и кандидатов КПСС; потом вторая партия внутри первой — это 4 миллиона членов партийных комитетов всех уровней; далее — около 400 тысяч профессиональных партаппаратчиков внутри этого «комитетского корпуса»; наконец, «элита элиты» — около 30 тысяч партийных секретарей: от райкомов до ЦК КПСС. Власть в государстве эти «партии» делят по принципу величины своей: чем меньше численность «партии», тем больше у нее власть. Шестнадцатимиллионная КПСС не имеет никакой реальной власти. Ею и Советским Союзом правят 30 тысяч секретарей. Поэтому-то Карл Радек острил: «В СССР не диктатура пролетариата, а диктатура секретариата!»

Таково иерархическое деление партии по вертикали, иллюстрирующее построение пирамиды коммунистической диктатуры, с рядовой партийной массой в основании, с «комитетским корпусом» в середине, с «секретарским корпусом» наверху и с Политбюро на вершине. Но есть и деление партии по горизонтали — то, что американцы называют «социальной стратификацией», а именно: социальное расслоение партии на «партийную буржуазию» (привилегированный класс) и на «партийный пролетариат»... Как началась эта социальная дифференциация внутри партии, изложено в классическом труде Милована Джиласа «Новый класс»...

XXV съезд КПСС и был съездом советской элиты — этого привилегированного «нового класса». Вот данные Мандатной комиссии съезда — из 4998 делегатов съезда на «социально-деловые группы» «нового класса» приходилось:

1. 1807 человек партократов (из них 1114 секретарей партии, от райкомов до ЦК; 693 партаппаратчика в Советах, профсоюзах, комсомоле);
2. 1703 технократа;
3. 887 служащих и специалистов сельского хозяйства;
4. 314 маршалов, генералов, адмиралов, высших офицеров;
5. 272 представителя научных, писательских, педагогических и медицинских кругов.

Что XXV съезд был съездом избранной партийной элиты, подтверждают и «декоративные» данные — 98 процентов делегатов имели по нескольку орденов и медалей. Конечно, на съезде были «рабочие» и «колхозники» тоже, но они играли свою обычную роль статистов «от народа». 3897 делегатов вступили в партию после войны, по возрасту — 70,5 процента делегатов моложе 50 лет; на съезде были представлены 60 национальностей; 25,1 процента делегатов — женщины («Правда», 28.2.76). (Этот относительно молодой съезд избрал ЦК со средним возрастом около 60 лет, а Политбюро — 66 лет.) 73,5 процента делегатов принадлежали к «брежневскому призыву» — они только при Брежневе сделали карьеру и впервые присутствовали на съезде партии. Понятно, что такой съезд еще больше чем предыдущих два съезда Брежнева — XXIII и XXIV,— превратился в необузданное словоблудие по адресу Брежнева. Кончая раздел доклада о партии, Брежнев под аплодисменты съезда заявил: «Не может быть партийным руководителем тот, кто теряет способность критически оценивать свою деятельность, оторвался от масс, плодит льстецов и подхалимов...» («Правда», 25.2.76, стр. 7). Если бы Брежнев решил применить этот принцип к самому себе, то он должен был бы немедленно уйти в отставку, а что касается выступлений на съезде, то речь каждого оратора пришлось бы сократить: первую половину — из-за подхалимажа к генсеку, другую половину — из-за отсутствия у ораторов малейшей способности критически оценить ситуацию в партии и стране.

Ни одной из острых проблем духовной жизни, которыми живут мыслящие люди советского общества, Брежнев также не поставил. Но жизнь их давно поставила. Впервые в истории режима после Кронштадта из недр народа выросло Демократическое движение, которое написало на своем знамени магические слова «свобода и права человека»; выросло национальное движение за право самосохранения (крымские татары); за право выезда из СССР (евреи); за национальную независимость (Украина, Прибалтика); за право на выход из СССР (Армения). В стране происходит, в противоположность западному миру, буквальное возрождение к жизни всех религий: христианства, иудейства, ислама, буддизма. Реакция КПСС и КГБ на них общеизвестна: бесчисленные судебные процессы, концлагеря, психотюрьмы. По отношению ко всем этим проблемам генсек предпочел «страусову политику» — прятать голову в песок.

Зато накануне съезда ведущие органы партии и правительства — «Правда» и «Известия» — получили задание разъяснить народу, особенно интеллигенции, что этих проблем в СССР вообще нет. Отсюда интервью с председателем Комитета по делам религии и церкви при Совете Министров СССР в «Известиях» «Советский закон и свобода совести» (31.1.76) и статья в «Правде» «О свободах подлинных и мнимых» (20.2.76). Несмотря на агрессивный дух коммунистической идеологии вообще, обе статьи свидетельствуют, что КПСС сегодня вынуждена переходить к обороне под большим давлением изнутри и из-за широкой огласки, которую чекистские репрессии получили в международной печати. Обороняясь, советское руководство сочиняет новые легенды, модернизирует старую ложь, перекладывает иные преступления — если они становятся достоянием мировой общественности — на своих добросовестных исполнителей. «Известия» пишут, что это советологи «пустили в оборот грязную выдумку, будто в СССР нет свободы совести», а на самом деле, утверждает газета, «в нашей стране все делается для обеспечения свободы совести», «наше законодательство о религиозных культах является самым гуманным и демократическим в мире»; но вот оговорка газеты: «Однако, как говорится, в семье не без урода. У нас есть еще своего рода церковные или околоцерковные экстремисты, которых приходится привлекать и к судебной ответственности». Этими «экстремистами» «Известия» считают мучеников за веру и за верующих Якунина, Дудко, Винса, Регельсона и других многочисленных лояльных советских граждан, сидящих в лагерях и тюрьмах только за веру и из-за веры.

В этом же плане составлена и статья «Правды». Оказывается, демократические свободы и права человека на Западе — это обман (и тут в доказательство цитируется Ленин), а СССР —





страна небывалого расцвета духовных свобод и гражданских прав. Поэтому «в нашей стране нет реальных антисоциалистических сил, враги социализма вознамерились нанести ему удар, используя кучку так называемых диссидентов». Оказывается, это буржуазная пропаганда сочинила «ряд фальшивых стереотипов; к ним относятся: домыслы о преследовании в СССР людей за убеждения; о недопущении советскими властями браков наших граждан с иностранцами; о препятствиях, якобы чинимых выезду в Израиль; об отсутствии свободы совести в СССР... Социализм впервые решил проблему свободы совести... Клеветническими являются утверждения, будто в СССР «инакомыслящих» заключают в специальные психиатрические больницы... Что же касается выезда из СССР, то в качестве доказательства «притеснений» ссылаются на факт более чем трехкратного сокращения в 1975 году (по сравнению с 1973 годом) лиц, выехавших в Израиль. Это произошло потому, что уменьшается число желающих выехать... Лицемерно обвиняют наше государство в том, что оно будто бы не выполняет положений третьего раздела Заключительного акта Совещания в Хельсинки. В действительности СССР скрупулезно соблюдает все положения Заключительного акта... Права человека не только реализуются в СССР, но и находят все более широкое международное признание...».

Если генсек не осмелился прямо коснуться этих проблем, хотя бы в такой их постановке, как в «Правде», накануне съезда, то он все-таки затронул их косвенно, торжественно заверив съезд, что Кремль и дальше будет держать курс на расширение и усиление карательных органов: «...мы уделяем и будем впредь уделять постоянное внимание совершенствованию деятельности милиции, прокуратуры, судов, органов юстиции» («Правда», 25.2.76) и, конечно, КГБ. Но, хорошо зная, как боится возрастающего произвола КГБ даже сама партия, Брежнев поспешил успокоить ее: партаппарат постоянно осуществляет «руководство и неослабный контроль» работы КГБ, которая ведется «...на основе строгого соблюдения конституционных норм, социалистической законности» (там же). Коснулся он и роста национализма. Он объявил войну «национализму, шовинизму, неклассовому подходу к оценке исторических событий, проявлениям местничества, попыткам воспевать патриархальщину» (там же). Советские писатели получили от Брежнева новый, уже международный «социальный заказ». Он призвал советских писателей воспеть борьбу «за освобождение народов, интернациональную солидарность трудящихся в этой борьбе» (там же). Генсек вспомнил и духовное завещание Жданова: «Главным критерием оценки общественной значимости любого произведения, разумеется, была и остается его идейная направленность», то есть идеалом партии остаются не талант писателя, не художественное величие произведения, а рифмованные передовые «Правды» и бездарные опусы Марковых и Чаковских. Я не случайно вспомнил Жданова. Через несколько дней после закрытия съезда «Правда», как бы комментируя Брежнева, привела слова именно Жданова: «Кому же, как не нам, возглавить борьбу против растленной и гнусной буржуазной идеологии, кому, как не нам, наносить ей сокрушительные удары... Социализм стал в порядок дня жизни народов. Кому, как не нам, помочь нашим зарубежным друзьям и братьям осветить свою борьбу за новое общество светом научного социалистического сознания» («Правда», 10.3.76).

4. НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ

Генсек сообщил съезду, что ЦК работает над проектом «новой Конституции СССР», оговорив, что «работа эта ведется тщательно, без спешки». Оговорка вызвана желанием оправдать перед страной невыполнение неоднократных обещаний руководства закончить составление проекта «демократической» «новой Конституции», над которой работают без «спешки» вот уже 14 лет (Конституционная комиссия была создана еще в 1962 году во главе с Хрущевым).

Обещаниям партии насчет «демократии» народ хорошо знает цену. Апрельская конференция большевиков 1917 года приняла резолюцию Ленина, в которой категорически было обещано, что Советское государство явится новым «типом государства без полиции, без постоянной армии, без привилегированного чиновничества». Даже больше. В книге «Государство и революция», а потом и в Программе партии 1919 года Ленин и партия обещали, что — в полном согласии с Марксом и Энгельсом — при социализме восстанавливаются все политические свободы и права, временно ограничиваемые из-за наличия эксплуататорских классов, а дальше пойдет процесс постепенного отмирания государства вообще. Интерпретируя этот главный принцип марксизма в вопросе о государстве, Сталин в 1933 году заявил, что по «законам диалектики» к отмиранию государства мы придем через его максимальное усиление! Осуществлением на практике этого нового «вклада» Сталина в марксизм-ленинизм и явилось отмирание власти Советов и создание современного тоталитарного государства партии (партократия) с ее «философией власти»: «Государство — все, личность — ничто».

Мы помним и другое обещание. В действующей Программе партии 1961 года было торжественно обещано перед всем миром, что к 1971 году будет завершено создание «материально-технической базы коммунизма» с изобилием материальных благ, а к 1981 году будет построено в основном и само коммунистическое общество (теперь Брежнев эти обещания тоже обошел полным молчанием). (Разумные китайцы говорят просто: «Коммунизм будет построен через 500—1000 лет».)

Бесчисленны такие обещания партии. Старый революционер, долголетний директор Института Маркса, Энгельса и Ленина при ЦК Д. Рязанов на VII съезде партии открыто разоблачил эту вторую натуру партии — обещать, чтобы выиграть время, лгать, чтобы утаить цели: «Вот перед вами Декларация прав, о которой т. Свердлов в Учредительном собрании говорил, что она будет заменять Декларацию прав Великой французской революции. Дайте себе труд прочесть эту бумажку и спросите себя: сколько раз вы лгали?» («Седьмой экстренный съезд РКП(б). Стенографический отчет», Москва, 1962, стр. 75).

Сегодня народам страны нужны не пустые, демагогические обещания. Нужны не слова, а дела. А самое главное и фундаментальное: нужна не «новая Конституция», а нужна просто *Конституция!* В самом деле, в СССР ведь нет никакой Конституции вообще. Нельзя же всерьез называть Конституцией ту маленькую красненькую брошюру, отцом которой законно считается Сталин, хотя она и носит громкое название — Конституция СССР.

Демократическое движение Советского Союза требует положить в основу Конституции СССР совсем иные принципы. Великий русский гуманист, трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Нобелевской премии мира академик Андрей Дмитриевич Сахаров еще в 1975 году предложил внести в Советскую Конституцию реформы «как необходимую альтернативу официальной позиции»...

Комментируя свои требования, академик Сахаров замечает: «Эти реформы я рассматриваю как необходимую предпосылку постепенного улучшения социальной обстановки в стране, улучшения материального положения большинства трудящихся, создания нравственной обстановки свободы, счастья и доброжелательности, восстановления утраченных общечеловеческих ценностей и ликвидации той опасности, которую наша страна как закрытое тоталитарное полицейское государство, вооруженное сверхмощным оружием, представляет для всего мира». Таких реформ жаждет не только советская критически мыслящая интеллигенция, но и широкие слои рабочих и крестьян. С этими требованиями демократизации режима академик Сахаров обратился не только к мировой общественности, но и прямо по адресу — к Советскому правительству. Брежнев не обошел их молчанием. Он ответил Сахарову, не называя его по имени: «...нравственно в нашем обществе все, что служит интересам строительства коммунизма... демократично для нас, то, что служит интересам народа, интересам коммунистического строительства» («Правда», 25.2.76). Но история ответит иначе. Она терпелива, но она злопамятна и мстительна...

1976 г.

Подготовка текста и публикация С. НИКОЛАЕВА.

Семен ЛИПКИН

ГЛИНА И ОГОНЬ

* * *

Я люблю твой язык больше жизни своей,
В нем негромко звучание чешского, польского,
Он славянский, однако в нем столько
монгольского,
Столько финских и тюркских корней и кровей.

Я люблю твоих грозных и жалких царей,
Злоумыслие Софьи в натопленной девичьей,
Городничих твоих и твоих бунтарей,
И немецких принцесс, и убитых царевичей.

Я солдатом твоим был в блокадных снегах,
В окруженных станицах донского казачества,
Уничтожат меня, втопчут плоть мою в прах,
Но душа моя в прахе зерном обозначится.

ТРУДНАЯ ЗИМА

Трудная моя зима кончается,
День идет за днем, не мельтеша,
И как ствол березы, утончается,
Поднимаясь вверх, моя душа.

Рвется на свободу травка вешняя,
Снег последний силясь побороть,
Рвется и душа, такая грешная,
Чтоб ее судили, а не плоть,

Чтоб, достигнув вечного сияния,
Озарившего весенний дом,
С болью и восторгом покаяния,
Наконец предстать перед судом.

* * *

Была ты и недоброю, и скрытной,
Из-за ничтожных плакала потерь.
Куда же удалишься ты теперь
Из хижины непрочной, глинобитной?

Увидишь ли нездешнюю листву,
Услышишь ли таинственную влагу,
Со льдом и снегом чуждую родству,
Иль снова будешь ты марать бумагу?

Иль, трепетно грешившая поднесь,
Ты вступишь в грязь и мерзость Вельзевула,
А там, боясь, чтоб совесть не заснула,
Ты станешь в муках каяться, как здесь?

Но, может быть, ты только в том повинна,
Что хижину хотела обрести?
Вот потому тебя и молит глина:
«Душа, не думай обо мне, лети!»

ВО ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ

Все кружится: люстра, стены,
Березы в большом окне,
И тонкая тень антенны
Колеблется на стене.

Какие близятся муки?
Какая движется тьма?
Но ты возьми себя в руки,
Не надо сходить с ума.

Смотри: в алмазной короне,
В круженье семи планет
Нисходит потусторонний
Вещественный вечный свет.

РОДНИК

Где часовня белела
Издалека,
Божья матерь скорбела
У большака.

И от слез ее горьких
В роще возник,
Отзвенев на пригорках,
Чистый родник.

Проезжали подводы,
Слышался скрип,
Проникавший под своды
Пахнувших лип.

Все пылилось, гудело,
Пело, цвело,
А часовня белела
Бело, бело.

И сраженье гремело,
И войско шло,
Божья матерь скорбела
Светло, светло.

Чад цыганской жаровни
Возле куста
От подножья часовни
Полз до креста.

А зимой выла рядом,
В гуще снегов,
С человечьим укладом
Бытность волков.

И молитвы, и толки —
Вечная смесь.
Но сильней стали волки,—
Только ли здесь?

Божью матерь втоптали
В пыль, но в пыли
Утоляла в печали
Печаль земли.

Где часовня? Где запах
Срубленных лип?
Гибнет свет в волчьих лапах
Или погиб?

Нет, родник не желает
Больше не быть,
Плачет мать, утоляет
Пришедших пить.

СКОРБЬ

Я не знаю, глядя издалече,
Где веков туманна колея,
Так же ли благословляла свечи
В пятницу, как бабушка моя?

Так же ли дитя свое ласкала,
Как меня моя ласкала мать,
И очаг — не печку — разжигала,
Чтоб в тепле молитву прочитать.

А кому Она тогда молилась?
Не ребенку, а Его Отцу,
Ниспославшему такую милость
Ей, пошедшей с плотником к венцу.

Так же ли, качая люльку, пела
Колыбельную в вечерний час?
Молодая — так же ли скорбела,
Как теперь скорбит Она о нас?

ЧЕРЕЗ СОРОК ДНЕЙ

Прошло сорок дней — и собрали всех жен,
И отняли все — до серьги и кольца,
И там, где песок был жарой обожжен,
Трудились, творя золотого тельца.

И вот он готов — господин золотой,
Телесным обильем он радует нас,
Блестя металлической шерстью густой,
Прелестно он смотрит сапфирами глаз.

Всего сорок дней протекло, как песок,
Со дня, как дошел до нас голос Творца,
Но мы предпочли лягушачий прыжок
И пляшем вокруг золотого тельца.

ЧЕРНОБЫЛЬНИК

Все избы превратились в дачи,
В которых молодежь семьи
Проводит летний день горячий,
А над рекою — мост висячий,
А за рекою — пост ГАИ.

Цветы — багряный, белый, синий —
Пленяют нежным естеством,
Но только нет моей полыни,
Той, что на юге, на равнине,
Мы чернобыльником зовем.

Ужасна весть: включен рубильник
Огнеметателей беды,
На небе весь в крови светильник,
Сверкнув, низверглись в чернобыльник
Два ангела. Иль две звезды?

Там язвами земное тело
Покрылось, стал заразой дым,
Как мертвое, живое тлело,
А мертвое, как жизнь, горело,
Но пепла не было под ним.

Но вот — не две звезды в полыни —
Четыре ангельских крыла,
А в них дыханье ранних скиний,
Любви, невиданной доныне,
Неисчислимого тепла.

* * *

О, дождя стариковские слезы,
О, как хочется верить слезам,—
И трехпалую руку березы
Простирает земля к небесам,

Чтобы заново с ними наладить
Им и ей столь потребную связь,
Чтоб на небе морщины разгладить
И самой рассмеяться, светясь.

Но калек небеса не жалеют,
Ни трехпалых берез, ни людей,
Лишь по-старчески плакать умеют
В час, когда нам не нужно дождей.

В СТЕПИ

Коснулся городок степного лона,
Его отар, его травы густой,
И частью стал свеченья небосклона,
Почти незримой, крохотной звездой.

Здесь правят свадьбы по ночам собаки
И глохнет ругань человечьих свар.
У кошки, притаившейся во мраке,
Глаза — огни автомобильных фар.

Но здесь, быть может, стану я землею,
И надо мною прорастет трава,
И пробегут овечки надо мною,
И ветер повторит мои слова.

* * *

Есть отрада и в негромкой доле.
Я запомнил, как поет в костеле
Маленький таинственный хорист.
За большими трубами органа
Никому не видно мальчугана,
Только слышно: голос чист...

* * *

Я прожил жизнь, собой не дорожа,
И потому безжалостно греша
В телесном одиночном каземате,
И плачет о себе моя душа,
В чем даже Иов признавался, кстати.

Хирург, что оперировал меня,
Склонясь над смесью глины и огня,
Был предан врачевательскому делу,
Но был смущен мой дух, еще храня
Приверженность бессмысленному телу.

ТРОФЕЙНЫЕ ФОТОГРАФИИ



Фотографии из фондов ЦГАКФД СССР подготовил А. Юськин

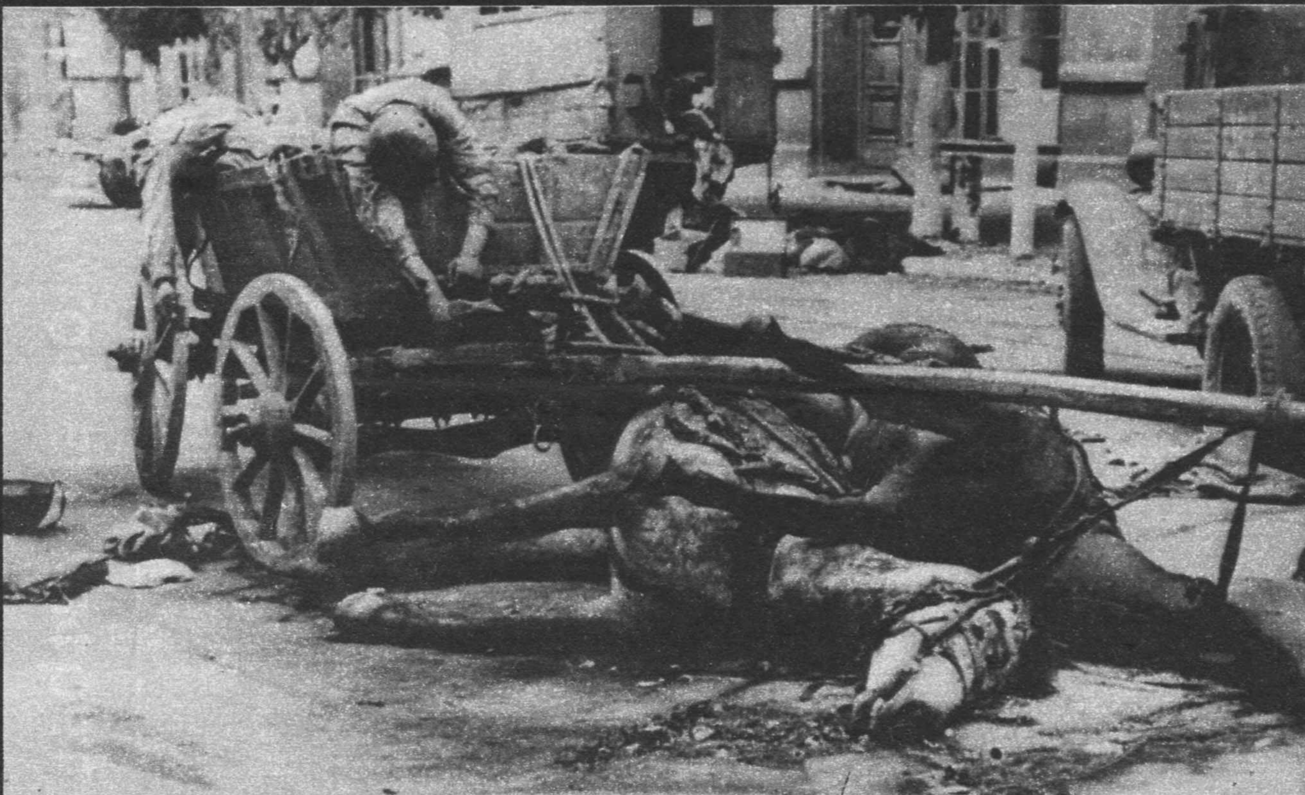
22 июня...

Эти фотографии никогда и нигде не публиковались. Перед вами — трофейные снимки из спецхрана Красногорского архива кинофотодокументов. И глядя сейчас на эти страшные свидетельства войны, я невольно задаюсь вопросом: почему, с какой позорной целью скрывали от нас без малого полвека эти фрагменты нашей истории? Ответ, думаю, ясен: никак не укладывались некоторые из этих снимков в гладкую конструкцию начального периода войны, построенную нашими «неистовыми ревнителями» на фундаменте общей лжи. Клешнит сердце, рвет душу, когда смотришь на склоненный бритый затылок этого «убитого большевика», навеки застывшего в вырытой собственными руками могиле. А эта виноватая как бы улыбка мужика в треухе, с поднятыми руками шагнувшего из избы — в ней целая судьба, жизнь, и смерть, и бессмертие... Бабы с детьми, заискивающе, снизу вверх глядящие на завоевателей, и наши пленные, предающие земле своих однополчан,— было, было все это, скрывай не скрывай в спецхранах. И знать все это нам нужно, необходимо, и видеть, чтобы вспомнить и помянуть. Потому что не будь этого тогда, в июне 1941-го, не было бы этих поморожденных под Сталинградом немцев, не было бы и знамени с крестом и свастикой, побито свисающего в русский снег. Но до этого была еще целая война...

К. СМИРНОВ















ОСКОРБЛЕНИЕ СЕКРЕТНЫМ ПРИКАЗОМ

Александр ПУТКО

ИЗ ПРИКАЗА ВОЙСКАМ ЗАПАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ № 066:

Государственный Комитет Обороны отметил своим специальным приказом, что командный состав частей Западного фронта проникнут эвакуационными настроениями и легко относится к вопросу об отходе войск от Смоленска и сдаче его врагу. Подобные настроения среди командного состава Государственный Комитет Обороны считает преступлением, граничащим с прямой изменой Родине...

Государственный Комитет Обороны приказал пресечь железной рукой подобные настроения, порочащие знамя Красной Армии...

Итак, еще один документ, до последнего времени хранившийся за семью печатями. Еще одно свидетельство полного неведения Верховного командования о положении на фронте, о настроении советских воинов.

Сейчас можно только догадываться, что пережили, ознакомившись с этим приказом, командиры. Практически их назвали изменниками Родины. А они в это время воевали, дрались насмерть, совершали подвиг такой же, как и герои Бреста. С той лишь разницей, что на подступах к Смоленску и в Смоленске все происходило в гораздо больших масштабах. Сравните: брестский гарнизон насчитывал около трех с половиной тысяч человек. А на подступах к Смоленску, в районе Могилева, в окружении оказались три стрелковые дивизии 61-го корпуса под командованием генерала Ф. А. Бакунина да еще около десяти тысяч бойцов народного ополчения! Дрались до последнего патрона. И держались примерно столько же. Но вот ведь как получилось: о Бресте теперь у нас знает каждый школьник, а Могилевская эпопея предана забвению. Даже в энциклопедии «Великая Отечественная война», изданной в 1985 году, сказано достаточно глухо: «Советские войска и отряды народного ополчения героически обороняли Могилев в ходе начавшегося Смоленского сражения, но вынуждены были оставить город 26 июля». Только-то! Видно, и сегодня кто-то не дозволяет напоминать, что в 1941 году целые соединения Красной Армии попадали в котлы. Почему? Из-за бездарного руководства Верховного командования. Из-за страха и лжи, на которых в ту пору все держалось.

Вот сообщение Советского Информбюро об итогах первой недели войны: «Отрезанные нашими войсками от своих баз и пехоты, находясь под непрерывным огнем нашей авиации, мотомехчасти противника оказались в исключительно тяжелом положении. За семь дней боев они потеряли 2500 танков, около 1500 самолетов, более 30 тысяч пленными. Наступательный дух немецкой армии подорван...». И это на седьмой день войны?

А вот что записал тогда же, 29 июня, в своем дневнике начальник германского генштаба Гальдер: «Русские сопротивляются отчаянно, но действия их носят разрозненный характер и потому малоэффективны». И вывод: есть возможность овладеть Могилевом с ходу!

Что же происходило в то время в самом городе? Спешно эвакуировались заводы, отправлялись на восток эшелоны с детьми. Десятки тысяч жителей под бомбежками и обстрелом дальнобойных орудий сооружали оборонительный обвод радиусом 25 километров. Формировались отряды народного ополчения.

4 июля три немецкие танковые дивизии вышли к Днепру южнее Могилева. С севера город охватили два немецких танковых корпуса. С запада на город наступали войска 7-го армейского корпуса.

До 12 июля непрерывные тяжелые бои шли на всей линии фронта 61-го стрелкового корпуса. Силы были неравными, но все попытки взять Могилев лобовым ударом разбивались о стойкую оборону! Здесь дралась 172-я стрелковая дивизия генерала Михаила Тимофеевича Романова. Умело маневрируя силами, комдив даже организовал несколько контратак, хотя не было у него ни танков, ни авиации.

В те дни в расположение дивизии прибыла группа военных корреспондентов. Среди них были Константин Симонов и Алексей Сурков. Командир 388-го стрелкового полка Семен Федорович Кутепов провел их по траншеям переднего края. Впереди простиралось поле, изрытое воронками, загроможденное искореженными немецкими танками. За день до прибытия корреспондентов здесь подбили 39 вражеских танков. Кутепов стал прообразом симоновского героя Серпилина. А вот настоящей фамилии героя Могилевской обороны вы и сегодня не найдете в энциклопедии «Великая Отечественная война»! Не упоминаются в ней ни комкор Бакунин, ни комдив Романов.

Вернемся к событиям июля 1941 года. Немцы, обойдя Могилев с севера и юга, замкнули кольцо в Чаусах. Продолжая наступление, они продвинулись далеко на восток и уже 16 июля захватили Смоленск. А Могилев, изрытый траншеями, перегороженный баррикадами и противотанковыми надолбами, превратился в неприступную крепость! Оказавшись в тылу врага, сковывал крупную группировку наступавших войск. Это приводило в бешенство немецкое командование. И тогда против Могилева бросили еще две дивизии...

В окрестностях города отчаянно сражались разрозненные остатки наших частей. Красноармейцы цеплялись за каждую пядь земли, помышляя только об одном: чтобы подбросили им боеприпасы. В архиве Министерства обороны СССР сохранилось донесение комкора Бакунина: «Вторые сутки веду упорные бои с превосходящими силами противника. Снаряды кончаются. Прошу сообщить, когда будут доставлены снаряды»... Просил помочь боеприпасами и находящийся в Могилеве генерал Романов. Тем временем в Могилев стягивались уцелевшие подразделения, оказавшиеся отрезанными от своих.

С каждым днем, с каждым часом положение окруженных становилось все более отчаянным. Их ряды редели. В дивизионный госпиталь все прибывали и прибывали раненые. Эвакуировать их было невозможно. Врачам и сестрам, как могли, помогали местные жители. На исходе были бинты, медикаменты, главное, боеприпасы. Кольцо вокруг Могилева сжималось. А 22 и 23 июля немцы ворвались в пригород, 24 июля рукопашные бои все еще шли на окраинах. Прикрываясь группой пленных красноармейцев, гитлеровцы пошли в атаку. В жестоком рукопашном бою удалось отбить пленных. В ночь на 25 июля один из немецких танков прорвался в город...

А сводки Информбюро лживо сообщали о том, что наши войска под Смоленском разгромили еще две немецкие дивизии. Описывались и боевые эпизоды, создающие весьма обнадеживающее представление о положении на фронте. В «Известиях» был опубликован снимок: поле, загроможденное разбитыми и обгорелыми немецкими танками. Тут же и корреспонденция К. Симонова. В ней рассказывалось о том, как успешно отражают атаки врага воины Н-ского подразделения. Но всего за десять дней, прошедших после посещения корреспондентами позиций 388-го полка Кутепова, обстановка там коренным образом изменилась!.. Генерал Романов понимал, что все возможности обороны города исчерпаны.

Судьба поставила Романова командиром над окруженными войсками, когда не было надежды на помощь и надвигалась развязка. Комдив не знал, сколько в полках людей. Какими огневыми средствами они располагают. Проводной связи с полками уже не было. И в госпитале скопилось до четырех тысяч раненых! За их судьбу он тоже был в ответе... Не перед Верховным командованием — перед самим собой...

В армии приказ командира обсуждению не подлежит. Но в сложившейся чрезвычайной обстановке генерал Романов все же решил посоветоваться с командирами и комиссарами полков, начальниками служб.

— В трудный час хочу знать ваше мнение,— сказал Романов.— Положение наших войск трагическое. Остается одно — с боем выходить из окружения...

Все понимали, что это значит. С голыми руками идти на врага, многократно превосходящего и численностью и вооружением? И даже, если кому-то чудом удастся прорваться, что дальше? Пробиваться к своим — более двухсот километров по тылам врага?

Но другого выхода не было. И все поддержали решение.

Вот выдержки из боевого приказа командира 172-й дивизии от 26 июля 1941 года:

1. Противник окружает нас с запада, севера и юга пехотными частями 7-го армейского корпуса, с востока действует дивизия СС «Райх».

2. 27 июля с наступлением темноты всем частям и штабам оставить Могилев и начать пробиваться из окружения:

а) Частям, действующим на левом берегу Днепра, под общим командованием командира 747-го стрелкового полка Щеглова, прорываться в северном направлении; пункты прорыва на местности назначить командиру полка. По прорыву кольца окружения повернуть на восток в направлении лесов, что восточнее Могилева, и двигаться до соединения со своими частями.

б) Частям, обороняющимся на правом берегу р. Днепр под общим командованием командира 388-го стрелкового полка Кутепова, прорываться из окружения в юго-западном направлении вдоль Бобруйского шоссе и далее в лес в районе Дашовка в тыл врага. В дальнейшем, следуя в южном направлении вдоль р. Днепр, переправиться на его левый берег и после этого двигаться в восточном направлении до соединения со своими частями.

И еще один пункт приказа, на котором для полной правды надо остановиться подробнее: «...Раненых, не способных следовать самостоятельно с войсками, оставить в городе». Да, раненых генерал вынужден был оставить фашистам. Четыре тысячи воинов, проливших кровь на поле боя! Воевавших честно, но теперь беспомощных, обреченных на страдания. Их комдив отдавал врагу. Но как было поступить иначе? Всем, кто был еще способен держать оружие, предстояло идти в последний бой. И каждый, будь он рядовым или генералом, должен был действовать в последнем бою как боец пехоты — винтовкой, гранатой, штыком. Наверное, Романов понимал, как воспримут его приказ раненые. Никакими доводами их не убедить, что иного выхода нет. Содеянное они наверняка расценили однозначно: их предали. Единственное, чем комдив мог помочь несчастным,— это оставить в госпитале несколько медиков, разумеется, добровольцев. И такие нашлись! Три врача — В. П. Кузнецов, А. И. Паршин, Ф. И. Пашанин — согласились разделить участь раненых...

И еще одна подробность, необходимая для полноты правды. При выходе войск из города нужно было оставить группу прикрытия, чтобы хоть на короткое время задержать фашистов. Были в ней и раненые, кое-как добравшиеся из госпиталя, пожелавшие умереть не в плену, а в бою. Подразделение смертников? Можно сказать так. Но разве не были смертниками те, кто пошел на прорыв почти с голыми руками? В среднем на бойца приходилось по... три патрона...

В дождливую ночь на 27 июля оставшиеся подразделения 172-й дивизии двинулись колоннами по параллельным улицам. Впереди шел комдив М. Т. Романов.

Бой начался внезапно на юго-западной окраине Могилева. При первом же столкновении с противником наши бойцы бросились в рукопашную.

Вскоре вступила в бой и группа прикрытия, занимавшая позиции за баррикадами в центре города. Руководил ею майор Катюшин — начальник оперативного отдела штаба 172-й дивизии. Несколько раз немецкие автоматчики бросались на баррикады. Бойцы Катюшина уничтожали их из винтовок. Были и штыковые схватки. Тогда подошли немецкие танки. Немногие вышли живыми из боя, который так и не вошел в историю Великой Отечественной войны.

Погиб полковник Кутепов. Тяжело раненному генералу Романову удалось с группой бойцов прорваться в Тишовский лес. 28 июля крестьянин Асмоловский обнаружил в бане генерала. Его нательная сорочка была изорвана на бинты. Он лежал, прикрытый простреленным мундиром с большими звездами в петлицах. Раненого перенесли в хату, переодели в гражданскую одежду. Пуля пробила левую лопатку и застряла в груди. Вскоре, однако, по доносу предателя в село прибыли немцы. Семью Асмоловских расстреляли, дом сожгли, генерала увезли. Из Могилевского лагеря военнопленных Романов сумел бежать. А позднее из захваченных у фашистов документов стало известно, что его снова схватили, пытали и повесили в городе Борисове...

Прошли через муки и врачи В. П. Кузнецов, А. И. Паршин и Ф. И. Пашанин. Врачей казнили на городской площади, согнав к виселице жителей города.

Работая в архиве Музея Вооруженных Сил СССР, я поразился, как мало сохранилось документов и экспонатов, позволяющих сегодня восстановить в деталях события обороны Могилева! Впрочем, могло ли быть иначе? В то время меньше всего думали о сохранении документов для истории. Наоборот, документы жгли, закапывали. Живые свидетели событий погибали в бою, в фашистских застенках и лагерях — немецких, а затем и в наших. А как же? В анкетах каждого, кто вышел к своим, стояло: «Окруженец». У органов госбезопасности они всегда были на подозрении. И все же есть живые участники тех событий! Может быть, кто-нибудь из них откликнется?

На многие размышления наводит судьба Михаила Тимофеевича Романова. Он не был оклеветан и репрессирован, как многие военачальники в те годы. Чаша сия его миновала. Но то, что происходило в стране и в самой Красной Армии, не могло не отразиться на нем. Сохранилась любопытная заметка Константина Симонова, написанная в послевоенные годы: «Читая личные дела полковника Кутепова, командира 172-й дивизии генерала Романова, да и некоторых других военачальников, превосходным образом проявивших себя в самые тяжелые дни 1941 года, я иногда испытывал чувство недоумения: почему многие из этих людей так медленно, по сравнению с другими, продвигались перед войной по служебной лестнице? Задним числом, с точки зрения всего совершенного ими на войне, мне даже начинало казаться, что в их медленном предвоенном продвижении было что-то неправильное. Но потом, поразмыслив, я пришел к обратному выводу, это медленное продвижение с полным и всесторонним освоением, или, как говорят военные, «отработкой каждой ступеньки», как раз и было правильным... И такой нормой и закономерностью оно и было до 1936 года. А перестало быть лишь начиная с 1937 года. И это привело в первый период войны к тяжелым последствиям. Когда в 1936—1937 годах было изъято из армии большинство высшего и половина старшего командного состава, за этим неизбежно последовало характерное для тех лет массовое перепрыгивание через одну, две, а то и три важнейшие ступени военной лестницы...

Надо ли еще раз повторять, что не будь у нас 1937—1938 годов, то в армии с первых дней войны на своих местах оказалось бы куда больше таких людей, как командир полка Кутепов или командир дивизии Романов».

Вот и получается, что избежавший репрессий М. Т. Романов все же стал жертвой сталинщины.

Сейчас мы учимся говорить правду. Под белыми пятнами часто зияют провалы. Становятся известными подлинные герои, развенчиваются псевдогерои. Предаются гласности скрывающиеся в архивах документы, вроде приказа № 066, приведенного вначале.

ТРОФЕЙНЫЕ ФОТОГРАФИИ







Сергей ХРУЩЕВ

ПЕНСИОНЕР СОЮЗНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ЧАСТЬ IV

Вскоре я получил информацию: первый том выйдет в конце года или в начале следующего. Со вторым, сообщили мне, работы гораздо больше, а потому для подготовки его в печать потребуется несколько лет.

Впрочем, в тот момент вторая книга меня не интересовала: важно было начать.

Объявить о книге решили в октябре, а первые журнальные публикации предполагались в ноябре. По срокам все складывалось удачно: отца я так или иначе успею предупредить.

В отношении отца к решению о публикации я не сомневался: ведь эту возможность мы обсуждали много раз, и сейчас я действовал строго в соответствии с заранее разработанной нами схемой. Но вот его реакция на то, что я сдал материалы, честно говоря, не давала мне покоя, хотя с позиций логики я поступил правильно. Тем не менее меня не оставляло чувство, что этически мой поступок выглядел не лучшим образом. Ведь отец не отдал мемуары Кириленко... Эти мысли не оставляли меня. И, должен признаться, мучают они меня и по сей день — через 18 лет после происшедших событий...

О чем я думал тогда?

Отец прошел революцию, гражданскую и Отечественную войны, ленинский, сталинский и послесталинский периоды развития нашего государства.

Ошибки его, которых он, конечно же, не избежал, сейчас не имели значения — всю свою долгую активную жизнь он посвятил общему делу.

Теперь, на пенсии, в своих воспоминаниях он пытается воскресить историю, осмыслить прожитое, предостеречь от возможных промахов тех, кто пришел на смену. Все это необходимо обществу, ведь без знания прошлого невозможно отчетливо разглядеть будущее.

И вот парадокс. Мало того, что, оказывается, опыт, история никому не нужны и по сей день,— за мемуарами гоняются как за подрывной литературой, нас низводят на положение едва ли не преступников, а сами воспоминания относят к разряду нелегальщины, издаваемой за границей.

Мемуары отца в высшей степени партийный документ, в этом сомнений быть не может. В чем же дело? Так я и не нашел в то время вразумительного ответа на этот простой вопрос...

* * *

На следующий день после встречи с Виктором Михайловичем мне удалось разыскать Леонору. Как выяснилось, с ней обращались далеко не так вежливо, как со мной.

Наблюдение за ней велось уже долго. Несколько последних недель какие-то подозрительные типы бродили вокруг ее дома, выясняли что-то у соседей. Мой визит к ней в больницу только добавил преследователям уверенности.

Начало см. «Огонек» № 22-24

По словам соседей, таинственных посетителей очень интересовало: что у нее за магнитофон? Откуда? Что она печатает? Пытались они завести знакомство и с самой Леонорой, но из этого ничего не получилось.

Однажды, когда она уехала в командировку, кто-то попытался проникнуть в ее квартиру. Но непрошеных визитеров постигла неудача: мать Леоноры болела и безвыходно сидела дома.

Тогда, очевидно, решили применить испытанный прием. Леонору вызвали в отдел кадров (к тому времени она перешла на работу в наш институт) и попросили заполнить длинную анкету, намекнув при этом, что ей хотят поручить интересную, но строго секретную работу. Таким образом, ее удалили из дома по крайней мере на несколько часов. Больную мать срочно пригласили на обследование в больницу.

Как утверждала Леонора, в квартире побывали «неизвестные». Времени на подробный обыск было достаточно, правда, и без него все сразу стало ясно: в шкафу лежали машинописные страницы с текстом мемуаров, здесь же были и магнитофонные пленки с записью голоса отца.

Задание, видимо, было выполнено с честью — «заговорщики» в нашем лице обнаружены.

В тот день, по словам Лоры, исчезли только два листа использованной копирки. Понятно, что «гости» старались не оставлять следов. Однако наблюдательная Леонора заметила, поскольку была готова к подобным сюрпризам: в доме кто-то был, пачка копирки похудела на два листа...

11 июля утром Леонора шла домой.

Возле дома ее ждали. Подошли трое, предъявили документы. Особенно не церемонясь, усадили в стоявшую недалеко от дома «Волгу». Двое сели по бокам, третий рядом с шофером. Ее привезли на Лубянку и сразу — на допрос. Первый, беглый, судя по всему, ознакомительный. Леонора ничего не скрывала: «Да, печатала мемуары Хрущева. Разве это запрещается? Что тут противозаконного?»

Потом все вместе поехали к ней домой. Устроили тщательный обыск, впрочем, не предъявив ордера и не пригласив понятых. В результате забрали и магнитофонные пленки, и напечатанные страницы. Протокола обыска никто не составлял. И тут же вернулись обратно в КГБ, теперь уже к Попову и Рассказову.

Допрос Леоноры вел Рассказов. Тут он не считал нужным сдерживаться, сразу заявив, что она, очевидно, не понимает, что участвует в заговоре против Советского государства, и ей это так просто не обойдется. Она, сказали ей, должна была немедленно прийти и доложить, что ей предложили печатать антисоветские материалы! А вместо этого ее втянули в антисоветскую деятельность...



Вот какой букет обвинений обрушили на голову бедной женщины. Через пятнадцать лет после XX съезда КПСС ее обвинили в антисоветской деятельности только за то, что она печатала воспоминания Первого секретаря ЦК КПСС! Чудны дела твои, Господи...

В результате этого «свидания» у Леоноры был нервный шок, и еще долго она не могла успокоиться...

Через несколько дней в Москву вернулся последний из действующих лиц — Вадим Трунин. О его приезде мне сообщили из... КГБ. Я позвонил к нему утром, поднял с постели. О происшедших событиях сообщать не стал, только условился, что заеду. Он жил на Волхонке — ЗИЛ, в пустовавшей квартире своего друга кинорежиссера Андрея Смирнова.

Приехав, я рассказал ему о событиях последних дней и в заключение сказал, что заберу папки, поскольку обещал сдать их на хранение в КГБ. Я был вынужден повторить объяснения Виктора Николаевича: мера временная, после выздоровления отца все отдадут, и мы вернемся к прерванной работе.

Своим словам я не очень верил, а Вадим только скептически хмыкнул: мол, держи карман шире, так они тебе и отдали.

— Впрочем, материалы твои, хочешь — забирай.— Он не стал ни спорить, ни отговаривать меня.

Собрали папки, и я отвез их Рассказову. Отдельной расписки за них я не получил — он сослался, что эти материалы упоминаются в предыдущей. Правда, там не указывалось количество страниц...

Настаивать я не стал, ведь это были копии. Хотелось со всем этим кошмаром поскорее покончить. Но оставался еще вопрос о моей пленке.

Евгений Михайлович извинился, сказав, что у него очень много работы и ее еще не прослушали. Он попросил меня подождать, с тем, что мне вернут ее в ближайшее время.

— Что ж вы столько тянете? — рассердился я.— Сделайте копию и слушайте сколько хотите. Снять копию несложно.

Эта тема явно заинтересовала Рассказова, и он спросил меня, насколько легко снимается копия с магнитофонных пленок.

Я понимал, что он неспроста интересуется моими знаниями в этой области, и ответил, что дело это простое. Надо только иметь два магнитофона и время. Понятно, что на копирование уходит столько же времени, сколько на запись.

Другими словами, для снятия копии с пленок отца мне понадобилось бы около 200 часов. В условиях прессинга и неослабного наблюдения я этого незаметно сделать не мог. Я сильно надеялся, что Рассказов сделает именно этот вывод.

Тогда он полюбопытствовал, не могли снять копию кто-либо из домашних.

— Исключается,— категорически ответил я.

Наконец, Рассказов осведомился, не мог ли снять копию Никита Сергеевич.

— Не знаю.— Я пожал плечами.— Это его дело. Я таких вопросов ему никогда не задавал.

На этом мы расстались.

На следующий день Вадим рассказал

мне, что, как только за мной закрылась дверь, в квартиру ввалился незнакомец, представился Владимиром Васильевичем, показал удостоверение и... увез его на Лубянку.

Возились с ним долго. Спрашивали: кто видел и читал мемуары? Где они хранились? И так много часов подряд.

— Ну и втянул же ты меня в историю,— беззлобно ворчал Трунин.— Ничего они тебе не отдадут, помяни мое слово.

По этому поводу Попов с Рассказовым тянули к себе очень многих людей. Допросы, видимо, длились не одну неделю. Допрашивали Андрея Смирнова, интересуясь в основном Труниным. Вдову Петрова, мою племянницу Юлю расспрашивали о Леве, обо мне, об отце. У моего друга Барабошкина выясняли и обо мне, и о магнитофонах. Были и другие известные мне, а возможно, и неизвестные участники этой «операции».

Раду и Аджубея не трогали. Их лояльность, очевидно, сомнений не вызывала. В своих воспоминаниях Алексей Иванович вскользь касается вопросов, связанных с написанием и опубликованием воспоминаний отца. Он отмечает, что лично он этой работой не занимался, как были опубликованы мемуары, не знает и выражает надежду, что со временем найдется ответ на этот вопрос.

Как мог, я постарался на него ответить...

* * *

Лежа в больнице, отец ничего не знал о разыгравшихся бурных событиях. Посещал я его так же регулярно, стараясь, чтобы внешне ничего не изменилось, разве что перестал подробно рассказывать о работе над мемуарами. Врать не хотелось, ведь скоро надо будет ему обо всем доложить. Сам отец вопросов о рукописи мне не задавал. Тем временем дела его шли на поправку.

Я периодически позванивал Рассказову по поводу своей пленки. Наконец во второй половине августа Евгений Михайлович сказал мне, чтобы я приехал: они готовы вернуть пленку. Кроме того, со мной выразил желание поговорить Виктор Николаевич.

В эти дни отец готовился к выходу из больницы. Уже был назначен срок выписки — через полторы-две недели. В санаторий имени Герцена на реабилитацию он ехать отказался. Сказал, что лучше себя будет чувствовать на даче.

О происшедшем я ему все еще не говорил. Решил рассказать по его возвращении в Петрово-Дальнее. Внутренне мне всеми силами хотелось оттянуть неприятный и тяжелый разговор.

Итак, я снова в здании, успевшем стать мне таким знакомым. И вот уже мы с Евгением Михайловичем поднялись к Попову.

Виктор Николаевич любезно поздоровался, вынул из сейфа мою бобину в серой пластмассовой коробочке, но не отдал ее мне, сказав, что они прослушали мою запись, показавшуюся им очень интересной и живой. Очевидно, диктовалась она по горячим следам?

Я кивнул. Виктор Николаевич, в свою очередь, предположил, что мои тогдашние чувства предопределили очень резкие и не совсем правильные оценки. Наверное, сейчас, когда прошло время, я более объективно оцениваю происходившие тогда события?

Я промолчал, пожав плечами.

— Мы вернем вам пленку,— улыбнулся Виктор Николаевич,— но запись давайте при вас, не выходя из кабинета, сотрем.

Возражать, понятно, не имело смысла. А кроме того, я смогу восстановить ее слово в слово.

Как бы прочитав мои мысли, Попов продолжил:

— Вы, конечно, можете восстановить эту запись, но мы рассчитываем на ваше благоразумие.

В кабинет зашел Владимир Васильевич. В руках у него был какой-то громоздкий аппарат серого цвета, явная самоделка. Включили шнур в розетку, аппарат загудел. Владимир Васильевич поводил им над бобиной и протянул ее мне. Операция закончилась. По замыслу «хирургов», очевидно, следовало, что память уничтожена, а значит, и события эти не происходили... Что-то вроде «магнитофонной» лоботомии.

И все-таки стертую запись было очень жаль. Исчезла как бы частица меня самого. Конечно, я восстановлю ее, но новая запись, несомненно, в каких-то деталях будет отличаться от прежней.

— Ну, вот и хорошо,— опять улыбнулся Виктор Николаевич,— забирайте свою пленку. Как видите, мы всегда точно выполняем свои обещания.

Он был явно доволен спектаклем. Но я не торопился покидать этот «гостеприимный» кабинет.

— За пленку спасибо,— начал я,— но вы запамятовали еще об одном вашем обещании.

Виктор Николаевич недоуменно поднял на меня глаза.

— Вы мне обещали — и это зафиксировано в расписке,— что, как только Никита Сергеевич выйдет из больницы, все материалы, которые вы у меня забрали, будут возвращены. На днях он выписывается и переедет на дачу. Я хочу, чтобы к его приезду и пленки, и распечатки лежали на своем месте. Ну, а насчет обещанных вами секретаря и машинистки надо говорить с ним самим,— закончил я.

Виктор Николаевич с ясной улыбкой посмотрел на меня и заявил, что... никаких материалов у него нет!..

Я, понятно, ожидал отказа, был готов спорить, но такого поворота не предусмотрел.

— Как же так? — растерялся я.— Ведь и вы сами, и Евгений Михайлович постоянно говорили мне, что они хранятся у вас в кабинете, в вашем личном сейфе, что вы никому не отдадите их, поскольку опасаетесь за их сохранность, даже в этих стенах.— Я кивнул на сейф в углу.— Но где же они?

Мне было сказано, что материалы переданы в ЦК.

Я пожал плечами и посетовал, что мне обещали их вернуть как раз от имени ЦК.

Виктор Николаевич с готовностью подтвердил свое обещание, но тут же сослался на приказ передать их в ЦК, который они обязаны были выполнить.

Он явно потешался моим замешательством.

Тогда я повторно попросил организовать встречу с товарищем Андроповым. В ответ мне сообщили, что это невозможно, поскольку Андропов уехал в командировку, а оттуда поедет на юг в отпуск. В Москву он вернется не скоро.

Говорить было больше не о чем. Я ушел... Положение мое было крайне незавидным. Отец выходит из больницы, а материалы исчезли. Действительно ли они в ЦК или попросту уничтожены? И к кому в ЦК обращаться?

И тут я подумал, что сигнал к публикации был абсолютно оправданным — хоть что-то останется. Выходит, отец был прав, когда говорил, что эта работа впустую. Все отберут.

И все-таки мне не хотелось этому верить. Я был настроен на борьбу и перебирал в уме варианты поиска мемуаров в недрах ЦК. Однако искать мне не пришлось. Они нашли меня сами...

На следующий день после разговора с Поповым у меня на работе раздался телефонный звонок. Мною интересовался сотрудник Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. Он назвал свою фамилию, но я ее запамятовал. Он предложил мне прибыть завтра в КПК и назвал номер комнаты.

— Пропуск вам будет заказан, не забудьте партбилет,— строго напомнил он.

О причине приглашения мне сообщено не было, а я не спрашивал. Все было ясно и без вопросов. Мое «качание прав» в кабинете Виктора Николаевича показало, что я еще не «дозрел» и меня не мешало прижать посильнее.

Когда я явился в КПК, меня принял звонивший накануне сотрудник, человек довольно любезный. Он сказал, что знаком с историей мемуаров и просит меня все происшедшие события подробно описать на бумаге. Писал я долго, стараясь ничего не упустить.

Он внимательно прочитал исписанные мною листки и молча вышел.

Фото Петра **КРИМЕРМАНА**



Я остался в одиночестве. Впрочем, ждать пришлось недолго.

Через несколько минут он вернулся и пригласил меня к заместителю председателя КПК товарищу Мельникову. В темноватом кабинете за стандартным письменным столом сидел высокий угловатый человек с грубыми чертами лица. До работы в КПК он был первым секретарем Ташкентского горкома.

Мельников начал расспрашивать меня о том, как велась работа над мемуарами, что сопутствовало ей. Видно было, что, кроме всего прочего, ему просто любопытно — хочется узнать скрытые от посторонних глаз подробности жизни отца.

Я пересказал ему все, что уже рассказывал Попову, но в дополнение подробно изложил, как за мной велась слежка. Особо я подчеркнул то обстоятельство, что Попов взял на хранение мемуары от имени ЦК, именем ЦК обещал их вернуть, а теперь заявляет, что их у него нет и где они, ему неизвестно.

Рассказывая, я наивно полагал, что все эти злоупотребления возмутят моего собеседника, будет назначено расследование и справедливость восторжествует.

В ответ же на свою историю я услышал, что в Центральном Комитете мне ничего не обещали. Материалы действительно находятся в ЦК, но в распоряжении Мельникова их тоже нет. О возвращении их сейчас не может быть и речи. ЦК примет соответствующее решение, и о нем нам своевременно сообщат.

Так закончилась наша встреча.

В конце августа отец вышел из больницы и вернулся к себе в Петрово-Дальнее. Он был слаб, бледен. Гулял мало, больше сидел на террасе или дремал в комнате в своем кресле. Дни шли за днями. Силы постепенно возвращались к нему. Он уже начал спускаться вниз на свою любимую опушку леса взглянуть на огород, полюбоваться видом на реку.

О мемуарах мы пока не говорили. Отец больше молчал, думал о своем. Возможно, он и догадывался, что что-то произошло, слишком уж старательно я теперь обходил эту тему. При встречах я пытался отвлечь его внимание пересказом легковесных московских новостей.

Отказ вернуть материалы, хотя и не слишком неожиданный, сильно угнетал меня. Тут я чувствовал себя виноватым, ведь я не имел права их отдавать.

Скрывать эту печальную историю от отца становилось все труднее. Он мог что-то узнать помимо меня или просто задать прямой вопрос: «Как идут дела с мемуарами?»

С другой стороны, он был еще слаб. Если я расскажу, как было дело, отец разволнуется, а сердце еще не окрепло... Но рано или поздно, а рассказать придется...

Постепенно отец пришел в себя и как-то, когда мы не спеша брели к опушке, я решился передать ему все: рассказал и о КГБ, и о КПК, упомянул и о скором выходе книги.

Разрешение на публикацию книги он одобрил. Беспардонное поведение по отношению к нему делало и его свободным в принятии решения.

— Правду не скроешь. Пусть пока напечатают не у нас... Плохо, что за границей, но ничего не поделаешь. Когда-нибудь она доберется и к нам,— горько посетовал он.

Но за то, что я отдал материалы Попову, мне здорово попало. Отец так и не простил мне этого проступка до самой смерти. Он заявил, что я не имел права ни под каким видом отдавать их. Дело не в том, что текст пропадет. Тут дело в принципе. Они нарушают Конституцию. А я взял на себя смелость распорядиться тем, чем не имел права распоряжаться. Он потребовал, чтобы я немедленно связался с Поповым и, заявив от его имени решительный протест, потребовал все назад. В ЦК ходить нечего, они там отбрешутся. Они же говорят, что ничего не обещали. Требовать надо с того, кто дал расписку. А иначе он грозился устроить скандал.

Отец сильно разволновался. Достал валидол, сунул в рот таблетку. Теперь он не расставался с ним. Я боялся, как бы ему не стало плохо с сердцем, но на этот раз обошлось.

— Конечно, хорошо, что можно все восстановить, труд даром не пропал,— немного успокоившись, проговорил он,— но с таким отношением мириться нельзя. Нельзя им такое спускать,— опять начал возбуждаться отец.— Давай кончим этот разговор,— внезапно оборвал он.

Мы погуляли еще, о чем-то говорили, но к вопросу мемуаров больше не возвращались.

Выполняя отцовское требование, я стал разыскивать Попова. Он, конечно, знал о разговоре в КПК и понимал, зачем я его ищу. Естественно, Попов стал неуловим.

— Виктор Николаевич вышел... Виктор Николаевич вам позвонит сам... Виктор Николаевич в командировке...— то и дело слышал я в ответ на свои звонки.

Конца этому, казалось, не будет. Но я был чрезвычайно настойчив и звонил не один раз на дню, прекрасно понимая ситуацию. Наконец, Виктор Николаевич — чудо! — оказался на месте, и мы договорились о встрече. Он, очевидно, понял, что я не отстану, и предпочел самолично встретиться со мной, гарантируя себя от возможных неожиданностей.

Явившись к Попову, я сделал официальное заявление, сказав все то, что велел передать отец.

К сожалению, Виктор Николаевич оправдал мои худшие опасения, объявив мне, что у него ничего нет. Комитет госбезопасности подчинен Центральному Комитету. По их требованию материалы были переданы в ЦК. КГБ ими не располагает и не распоряжается. Он выразил сожаление, что они не выполнили своего обязательства, и принес свои личные извинения. Но в настоящий момент органы к этому делу касательства не имеют, а посему Попов переадресовал меня в ЦК.

Я передал наш разговор отцу. Он в сердцах даже плюнул.

— Ну их!.. Ничего теперь с ними не сделаешь! Ничего от них не добьешься! И не ходи туда больше,— буркнул он.

Жизнь сложилась так, что знакомство наше с Евгением Михайловичем и его «командой» затянулось на долгие годы. Интерес ко мне то, казалось, совсем затухал, то разгорался с новой силой.

В начале октября у меня состоялась еще одна встреча с Евгением Михайловичем и Владимиром Васильевичем. На Западе объявили о предстоящей публикации в издательстве «Литтл Браун» мемуаров отца «Хрущев вспоминает». Говорилось, что они располагают машинописным текстом и магнитофонными пленками с записью голоса отца. Эксперты подтвердили подлинность магнитофонных записей.

Название было с нами согласовано — скромно и спокойно, без излишней претензии.

На этот раз Рассказов выглядел удрученно. Оно и понятно. После «блестящей» операции в июле и вдруг такой финал в октябре...

Встретились мы в знакомом номере гостиницы «Москва».

Разговор был коротким. Нетрудно догадаться, что интересовало их одно: каким образом мемуары попали в Америку?

Ответ мой был прост:

— Пока материалы были у нас, о публикации не было и речи. Сегодня этот вопрос следует задать вам, а не мне.

И по большому счету я не кривил душой.

В завершение разговора я снова потребовал вернуть материалы их владельцу, тем более что в сложившихся обстоятельствах изъятие их теряло всякий смысл — они скоро будут опубликованы. Рассказов со злостью ответил мне, что в такой ситуации он не советует мне вообще поднимать этот вопрос.

Но и на этом наши испытания не кончились: отцу, как выяснилось, предстояла новая встреча с бывшими соратниками. Книга еще не вышла, никто ее в глаза не видел, я не говорю уж, прочитал, а не оправившегося от болезни отца грубо вызвали в ЦК...

Никого не интересовало, что написано в книге, о чем она. Насколько мне известно, содержанием отобранных у меня материалов никто даже не поинтересовался. И все же...

11 ноября, сразу после октябрьских праздников, отцу позвонили из секретариата Пельше и приказали немедленно прибыть в КПК.

Брежнев вовсю набирал силу, матерел, чувствуя себя все безнаказанней. Это был еще, конечно, не конец 70-х, но уже и не либеральные 60-е. Тогда позволить себе что-то подобное не мог никто.

Отец ответил, что немедленно он приехать не может — не на чем. У него нет машины.

— Машина за вами уже выслана,— последовал ответ.

В Комиссии партийного контроля отца уже ждали Пельше, Мельников и, как я понял из рассказа отца, тот же сотрудник аппарата, который два месяца тому назад занимался мною.

Едва отец переступил порог, как заранее составленный сценарий разлетелся вдребезги с первых же минут разговора.

Отец и без того был разъярен безобразным отношением к нему, фактом изъятия мемуаров, грубым обманом, хамским ответом Попова. Он с трудом сдерживался, но вызов к Пельше стал каплей, переполнившей чашу.

Состояние здоровья отца не предполагало острого разговора, но не он стал его инициатором. И тут уж советы Беззубика не волноваться, сохранять спокойствие, не принимать близко к сердцу не действовали. Отец пошел в бой, как всегда, без оглядки.

Словом, «воспитательной» беседы, как на то, очевидно, рассчитывали приглашавшие, не получилось. Не хотел бы я быть на месте «воспитателей»...

Отцу предложили уже подготовленный текст заявления, где было написано, что он, Хрущев, никогда не писал воспоминаний и никому их не передавал, а публикуемая книга является фальшивкой. Отец сейчас же напрочь отверг эту редакцию, заявив, что подобный документ он подписывать не будет. Это ложь, а лгать грешно, и в его возрасте — особенно. Пора думать о лучшем мире. Да и другим не помешает... Воспоминания он писал. Каждый человек имеет на это право. Эти мемуары предназначены для партии, для народа. По мнению отца, они принесут пользу для понимания эпохи, в которой он жил и работал. Его воспоминания — это уже история. И тут он заверил своих оппонентов, что будет ими заниматься и в дальнейшем.

Затем он сказал, что он готов подписать документ о том, что работа над мемуарами еще не завершена, а потому они не приобрели вид, пригодный для публикации.

В отношении же факта выхода книги за границей отец согласился написать, что сам он материалов для публикации за рубеж не передавал. Такой компромисс устроил Пельше. Оперативно подобрали формулировку, отпечатали, и отец подписал. Текст был немедленно опубликован. Сейчас у меня его нет под руками, и я не могу его привести. Да и не считаю это важным. Но, как выяснилось, главный разговор только начинался.

Отец обратился к Пельше, когда тот уже считал, что тема исчерпана, напомнив ему об изъятии мемуаров.

Пельше был не готов к ответу и сказал, что ему ничего не известно. Мельников на помощь своему шефу не пришел. Отец тем временем перешел на новую тему, еще более острую.

Прошло шесть лет, как они работают без него, стал говорить отец. Тогда на него всех собак повесили. Говорили: избавимся от Хрущева, и все пойдет как по маслу. А ведь отец предупреждал своих бывших сотрудников, что надо перестраиваться, по-новому вести хозяйство, иначе ничего не получится. Но они вернули министерства и разрушили то хорошее, пусть малое, что было сделано.

Сельское хозяйство разваливается. При отце повысили цены на масло, мясо, чтобы стимулировать производство продуктов, но этого не произошло, в магазинах ничего нет.

В 1963 году, опять же при нем, закупили зерно в Америке, но как исключительный случай. А без него они ввели это в практику. Позор! Советский Союз закупает зерно!

Значит, продолжал отец, дело не в нем, а в порочной системе хозяйствования. Они уже успокоились и ничего делать не хотят. Сидят в тихом болоте, а надо действовать, искать.

А международные отношения? Говорили, что отец поссорил нас с Китаем. Прошло шесть лет, отношения только ухудшились. Теперь всем видно — тут действуют более сложные закономерности. Пройдет время, и отношения нормализуются, но для этого должны прийти новые люди и здесь, и там, способные по-новому взглянуть на проблему, отбросить накопившуюся шелуху.

Как рассказывал потом отец, Пельше было встрепенулся, желая что-то возразить, но отец не дал ему вмешаться и продолжал в пух и прах критиковать своих прежних соратников.

Он говорил, что они в Египте все прозевали (употребив при этом более крепкое выражение). Сколько денег, труда вложено в эту страну, а они допустили, чтобы наш союзник проиграл войну, хотя был вполне к ней готов, имея современную, отлично вооруженную армию.

Коснулся отец и некоторых других вопросов, связанных с внешней и внутренней политикой. Вся эта гневная тирада потребовала немалых сил. Наконец, он закончил свою «обвинительную» речь и замолчал.

Пельше попытался оправдаться, но отец его не слушал. Потом сказал, что он выполнил их требование. Подписал. А сейчас хочет уехать домой...

Это была последняя встреча отца с партийным руководством, с его преемниками. Он высказал им все, что наболело на душе за последние годы, о чем он мучительно раздумывал в одиночестве.

Я ничего не знал, и только мама, позвонившая мне в тот же день, рассказала, что отца вызывали в КПК и допрашивали о мемуарах.

Я немедленно приехал на дачу. Отец сидел на опушке. Подойдя к нему, я присел рядом. Мы долго молчали, потом он стал рассказывать, все больше распаляясь.

Закончив, он помолчал и вдруг, видимо, отвечая своим мыслям, добавил:

— Теперь я окончательно убедился, что решение об издании книги было правильным. То, что отобрали, они уничтожат. Они правды боятся. Все правильно.

Мы опять замолчали, каждый посвоему думал об одном.

Вечером я уехал, поскольку это был рабочий день. Дома по свежим следам записал рассказ отца.

Визит этот не прошел отцу даром. Пельше добился результата — отца опять уложили в больницу.

Владимир Григорьевич Беззубик объявил, что у отца микроинфаркт.

— Это совсем не то, что было летом,— старался успокоить он нас,— никакого сравнения. Все равно что кошка когтями царапнула.

Продолжение следует.

Замечательный документалист Владислав Виноградов, известный зрителю по фильмам «Я возвращаю ваш портрет», «Я помню чудное мгновенье», «Мои современники», снимает сейчас две полнометражные ленты о судьбах русской эмиграции. Первый фильм — о той, послереволюционной еще волне беженцев, об осколках старых русских фамилий, разбросанных по всему миру или уже нашедших последнее пристанище на знаменитом Сент-Женевьев. Второй — об эмигрантах «третьей волны», уезжавших в семидесятые с израильской визой на руках и самыми неожиданными маршрутами скитаний. Как раз для этой, второй части оказалось очень трудным найти главного героя, человека, чья судьба, интересная и сама по себе, сумела бы сфокусировать всю проблематику этого явления. Хотели снимать Солженицына, Ростроповича... Но ведь ни Солженицын, ни Ростропович не были, в сущности, эмигрантами. Они изгнанники, высланные из родной страны насильно... Имя Юлиана Панича кто-то из команды Виноградова обронил почти случайно... «Господи! Кто, как не я, сможет рассказать о Юльке!» — воскликнул Виноградов. Виноградов и Панич — давние друзья, еще по Ленинграду, еще по совместной работе на телевидении, еще по тем разговорам два десятилетия назад, после которых один принял решение уехать, а другой — остаться. Видимо, поэтому и беседа наша, когда я в составе съемочной группы Виноградова приехала в Мюнхен, а потом встречала Панича в Ленинграде и в Москве, когда расспрашивала его о «жизни и судьбе» «здесь» и «там», была предельно откровенной...

Беседу ведет наш корреспондент Анастасия Ниточкина.

ЮЛИАН ПАНИЧ: «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ...»


Фото Кирилла ВИНОГРАДОВА

ВСТРЕЧА ПЕРВАЯ. МЮНХЕН.

— Я думаю, что с нашей перестройкой ваше спокойствие нарушилось: приезжают корреспонденты, задают вопросы. Бывшие соотечественники выступают на радиостанции, приходят в гости. Раньше ваше имя изымалось из титров фильмов, а теперь целых два сюжета в «Пятом колесе» вышли...

— 30 ноября прошлого года, когда вышло «Пятое колесо», моя мама попала в больницу и вскоре умерла. Она не увидела меня по телевизору...

— Раз уж вы сами заговорили о маме, расскажите о своей семье, о детстве.

— Маме было 14 лет, когда она научилась печатать на машинке и попала в политотдел 13-й Армии. Командовал ею сначала Махно... Я помню мамины рассказы о его длинных волосах. А потом я увидел мамину фотографию в Музее комсомола Украины — «первые комсомольцы». Среди девчат и парней мама выделялась длинной косой.

Мама была странным человеком. Я помню, как в 1972 году мы поехали с ней отдыхать и я рассказал ей о своих проблемах. Она сказала: "Все, уезжай, ты прав. Ты не должен жить в этой стране..." С другой стороны, потом она все время стеснялась говорить, что Юлий Панич, эмигрировавший и выступающий на «Свободе»,— это ее сын. Она боялась говорить об этом. Это очень мучительно — знать, что от тебя отрекаются.

Сначала я хотел, чтобы она уехала вместе со мной, но она отказалась: «Я вышла из местечка, я в местечко не поеду...» Она очень гордо носила титул вдовы полковника.

Папа был гимназистом, студентом, артистом, бойцом. Воевал. А до войны скрывался от НКВД. Я менял множество городов, вслед за отцом и матерью. В Сочи боялись, что в Сочи посадят, в Смоленске, что в Смоленске возьмут. Он даже работал в сумасшедшем доме, чтобы замести следы. А вся его вина была в том, что он беспартийный, из семьи, как тогда говорили, нетрудовых... Он пошел добровольцем на фронт и очень здорово воевал. Умер вскоре после войны...

В результате я из очень простой, нормальной, советской семьи служащих, из коммунальной квартиры с Уланского переулка в Москве, 26 комнат, одна уборная...

Должен признаться, что мне всегда удивительно везло. Мама была очень педантичной женщиной и собирала все мои фотографии. У меня есть газета 34-го года, где рассказывалось о детском саде имени Постышева и помещена моя фотография. Уже тогда мое лицо почему-то всех привлекало...

9 июля 40-го года — перед самой войной. В газете фотография — председатель совета дружины Юлик Панич подходит к мачте и поднимает флаг.

Потом я учился в замечательной московской 26-й школе. Из моего класса вышли заместитель министра иностранных дел, воры, актеры и писатели. В школе было много отличников, я же отличником не был никогда. Но в газете появилась статья, рассказывающая о том, какой дружный был у нас класс и... конечно, моя фотография...

Потом поступил в Театральное училище имени Щукина и вместе с моими соучениками позировал для знаменитой фотографии «Письмо вождю»...

Это были прекрасные годы — детство. Меня воспитывали на лучших образцах русской христианской литературы... Только про жизнь я ни черта тогда не знал...

— Видимо, вам везло не только в детстве, но и в юности. Вы же были популярнейшим артистом. Мне рассказывали, что, когда вы выходили из дома на улицу, вокруг раздавался шепот: «Панич идет, смотри, живой Панич...»

— Это было после «Педагогической поэмы», «Разных судеб». А потом я решил стать режиссером. Тут-то все и началось.

— А что началось? Вы сняли две неплохие картины — «Проводы белых ночей» и «Дороги домой». Одна — про любовь, другая — про войну, про Армию Крайову... Вы не замахивались на запретные темы. Все должно было быть благополучно. Даже призы на фестивалях за эти фильмы получали.

— То, что вы говорите,— это взгляд из сегодняшнего дня... А тогда... Я помню обсуждение фильма «Дороги домой». Это было 19 августа 1968 года — за два дня до ввода наших войск в Чехословакию... Телевизионные работники, видимо, уже готовили информацию по этому поводу. Подвернулась моя картина. И началось: фильм мой якобы возбудит ненависть поляков. Кто-то сказал, что я расист. «Как же можно показывать немцев — небритых, немытых, мятых (в общем, человечных)?» Моя картина была признана диверсией. «Вы же показываете, что поляки стреляют в спину...» «И вообще,— сказал кто-то,— что такое — Панич? Что за фамилия такая? Что за имя?» Вы представляете, уровень обсуждения? (У меня бабушка была революционерка, звали ее Юлия, зарублена белыми в 18-м году. Меня в честь ее и назвали. Фамилия моя из старой украинско-югославско-болгарско-еврейской семьи. Я жил в деревне, где одна улица — рыжие Паничи, а другая — черные Паничи.) В общем, назвали меня антисоветчиком, а уж этого мое комсомольское воспитание никак не могло пережить. Когда речь зашла о поляках, вдруг вскочил Месяцев, в то время председатель комитета по ТВ и радиовещанию, и сказал: «Я был во время войны начальником трибунала. Да у меня поляки весь трибунал зверски уничтожили. Что вы к человеку пристали?» В общем, он меня защитил. Но ведь опять это несерьезно. А если бы он не был начальником трибунала?

Мне все надоело, и я сказал, что не хочу больше обсуждать свою картину. У меня живот болел — страшная язва. У Месяцева тоже, оказывается, язва была. Он позвал меня к себе в кабинет, накормил диетическим обедом, дал хорошую сигарету «Кент». (А это происходило все во время обсуждения: народ в зале сидел и ждал возвращения начальника.) Потом мы пошли в туалет, и когда все увидели, что из уборной выходят два другана, застегивающие ширинки, явно нашедшие общий язык,— картину не запретили, не осудили. а просто спрятали. И сказали: «Но вы же сами понимаете?!»

— Какая-то дикая история, хотя, наверное, по тем временам типичная. А что не понравилось в картине «Проводы бе-

лых ночей»? Там же вроде не к чему придраться. Лирическая история про любовь...

— Мы снимали эту картину 40 дней. И еще полтора года резали, коверкали, кромсали — в общем, сдавали начальству. Ветераны написали письмо в ЦК, что наш фильм разлагает молодежь. А речь-то шла совсем о другом. Девушка, переспав с героем в первую же ночь, потом всю жизнь борется за него. Любовь по-разному начинается! Требовали доснимать какие-то сцены, перемонтировать картину, чтобы растянуть знакомство героев. Сегодня — дико, а тогда на это уходили месяцы утомительной борьбы... Я отступал. Я соглашался. И снова слышал: «Но вы же взрослый человек, вы же понимаете?!» И снова я все понимал: корежил и картину, и себя самого.

Я переехал в Москву, потому что понимал, что в Ленинграде никогда не вырвусь из двух-трех редакторских кабинетов.

— В Москве по тем временам было лучше?

— Нет. В Москве я вообще стал творческим импотентом. Я снял новогодний телеконцерт, цветное ревю. Мне сказали, что будет смотреть сам Брежнев. В те времена был, наверное, десяток цветных телевизоров. Понятно же, в чьих домах они стояли. Я ужаснулся: «Боже, что я наделал? На кого я стал работать? И ради этого я бросил Ленинград, друзей, сотрудников, которые стали почти родственниками?» Я был совершенно одинок в Останкине. Создать свою команду не было возможности. Делать, что хотел,— никаких шансов. Когда я приходил с очередной идеей, начальство разводило руками и говорило: «Вы же сами понимаете?!» Я снова все понимал, шел домой и придумывал что-то новое. И история повторялась сначала...

— У вас было звание?

— Нет. Игры со званием были смешны и очень обидны. Дети моих сверстников получали, а мне говорили: «Ну, вы поймите, евреи не так часто получают у нас звания. Недавно большая партия получила. Теперь надо подождать...»

Я стал задумываться о своей национальности. Много общался с Михаилом Каликом, который в то время собирался уезжать. Я мечтал сделать «Соль» Бабеля и «Иудейскую войну» Фейхтвангера. Мне казалось, что я совершенно точно знаю, как это снять...

— Вы уехали только для того, чтобы иметь возможность работать? Заниматься еврейской культурой, как в свое время говорили Виноградову?

— Я помню тот наш разговор... Это был 71-й год, когда легко находились формулировки. Человеческая обида легко приобретала логически законченную форму несчастья. Из-за своего комсомольского воспитания я не мог найти в себе мужества сказать, что уезжаю... от обиды. Я придумал свою позитивную программу, понимая, что, если останусь, буду делать пошлятину для Брежнева, иначе не выжить.

Мои оправдания были попыткой защитить себя в тех условиях. У меня не было мужества признать, что я уезжаю потому, что меня не любят (а это было правдой, если вспомнить хотя бы ситуацию со званием)...

— Вам не было обидно уезжать от обиды?

— Сегодня мне сложно вернуться в то время, чтобы с ответственностью сказать: обидно или нет...

Обидно было то, что творилось в стране. С людьми... Диву даешься: как можно думать одно, делать другое, чувствовать третье. Сегодня философы называют это время двоемыслием. Я же убежден, что в стране было безмыслие. Мы не позволяли себе мыслить. И я в том числе... Мы искали возможность отыграться. И врали, рассказывали анекдоты, все время держали фиги в карманах... Бред. Глупость.

Помню, как мы сидели на кухне у очень именитого поэта. Пили. Очень крепко пили. Один поэт — лауреат Ленинской и Государственных премий. Другой поэт тоже очень именитый и тоже очень благополучный. И певец был самый знаменитый... (Я не называю имен, потому что это было типичное явление.) И вот стали мы ругать Брежнева, анекдоты рассказывать. Я сказал тогда: «Ребята, ну как же нам не стыдно? Что же мы все смелые на кухне, да с фигами в кармане? А завтра в газетах что появится!» Хлопнул дверью, потерял друзей. Как сейчас понимаю, тоже довольно глупо себя повел. Это была накрутка на отъезд...

Мое положение усугублялось еще и тем, что я был очень болен. Об этом, может быть, не принято говорить, как не принято говорить о сексуальной жизни... У меня была сильнейшая язва, кстати, тоже от кино: после каждой проработки у начальства два-три месяца в больнице. Сколько операций перенес! В больнице я увидел совершенно других людей, другую Родину, других зрителей. Они меня не узнавали: я был измучен, то в бороде, то без бороды. И вот в курилке, около уборных, из которых невыносимо пахло мочой, были самые честные, самые откровенные разговоры за жизнь. И у меня появилось чувство, которого раньше никогда не было. Мне стало стыдно своей благополучной жизни. Появилось колоссальное сострадание к этим людям. Я ничем не мог им помочь...

— Вы долго готовились к отъезду?

— Долго — недолго... Визу мы получили очень неожиданно и должны были выехать из страны не позднее чем через пять-шесть дней. Оказалось, что не готовы. У нас даже чемоданов не было. Я обратился к Славе Ростроповичу (которому тогда продал часть своей мебели) — он еще жил в Советском Союзе, в абсолютном внутреннем отказе, отчаявшийся, небрившийся и какой-то потерянный. Он обещал мне помочь и отправил на свою дачу. Живший там человек должен был дать мне все, что нужно.

Я приехал в знаменитую Жуковку. С одной стороны строился дом для сына Брежнева. С другой — дача Андрея Дмитриевича Сахарова. Дача Ростроповича. На участке — второй домик (то ли для прислуги, то ли при гараже). Вышел живой Солженицын, передал мне чемоданы и ящики...

Мы были рады, но одного не рассчитали: за Солженицыным велось постоянное наблюдение. Видимо, решили, что он передал нам свои произведения... и на таможне все-все отобрали. Я приехал в Израиль, и долгие девять месяцев у нас не было ничего, кроме собаки, приемника и дурацкой вазы... Жизнь с абсолютного нуля.

— Вы уехали заниматься еврейской культурой, а вчера мы снимали вас в православной церкви...

— Мое пребывание в Израиле было очень сложным, болезненным. Я уехал заряженный одиннадцатью заявками и сценариями. Главное — «Иудейская война». И когда я говорил умным евреям, жившим в Израиле, что хочу сделать фильм о евреях по Фейхтвангеру,— они смеялись мне в ответ. Потому что Фейхтвангер в литературе — христианин, как Пушкин, Достоевский и Толстой. Вся европейская еврейская философия не имеет ничего общего с восточной — ливантийской, полуарабской, палестинской — философией. «Не убий!» — сказал я как-то одному из своих друзей. «А кто тебе это сказал?» — удивился он. «Ну как же: это написано в Евангелии...» — «Ну и читай свое Евангелие. А я читаю Ветхий завет, где сказано: «Зуб за зуб, око за око»... Таких столкновений было множество.

И вот я жил в Иерусалиме. Я ошалел от сочетания воздуха, температуры, ветров, цвета человеческого тела, камня, растительности с христианством и Библией. Я увидел Голгофу — горочка под стеклянным колпаком. И это была действительно Голгофа!.. Гена Габай начал снимать фильм о Христе, и я с колоссальным удовольствием начал его озвучивать: читать Новый завет. Я выучил наизусть громадное количество текстов, а выучив их, вдруг попал в круг литературного понимания. Я не знаток Библии, но я очень внутри сижу...

Я понял, что все мои попытки делать еврейское кино — это попытка местечкового еврея рассказать о своих представлениях о еврействе. Тема была исчерпана. Я осознал, что в своих мечтах кормлю мертворожденное дитя. Я хотел делать то, что никто не хотел смотреть. Нужно было решать: или насильно себя ломать, подстраиваться (но я же от этого бежал), или оставаться собой и принимать христианство. Что я и сделал...

— Вы решили порвать с кинематографом и поехали в Германию?

— Нет, все было гораздо сложнее. В Израиле я оказался 140-м режиссером из Советского Союза. Режиссерами назывались все. Смешной случай был. Я встретил своего знакомого киномеханика Мишу Позина, который, приехав туда, сказал, что он снял «Андрея Рублева», а поскольку он уехал, то картину «прикарманил» Андрей Тарковский.

— Действительно, смешная история. А что произошло с этим человеком дальше?

— Работать ему все равно не дали. Он уехал в Америку, работал часовым мастером. Прошло лет десять, а может, и больше. Я узнал, что Миша Позин получил чуть ли не «Оскара» — во всяком случае, какую-то очень-очень высокую кинонаграду. Он снял фильм об Олимпийских играх инвалидов. Видимо, он так долго представлял себя великим режиссером, что наконец реализовался... Теперь он снова работает часовым мастером...

— Значит, устроиться по специальности эмигрантам довольно сложно?

— Людям творческих профессий практически невозможно. Я пришел в театр Габима. Меня не взяли, потому что якобы я не знаю языка. Я пообещал выучить (государство же за меня платило), но спросил, почему репетиция идет по-русски. Мне ответили, что ставит иностранец — ему можно. А я уже был своим. Никаких скидок, никаких поблажек. Мне дали мизерную сумму денег, просто для того, чтобы я больше не возникал. Это было очень позорно. И сегодня я говорю своим коллегам, что уезжать нужно только в том случае, если нет выхода. Один артист знаменитый собрался уезжать, думал выступать в Израиле со своими программами, читать Пастернака. Сумасшедший. Он же там никому не нужен.

— Как же устроились лично вы?

— Жил в бедности... Очень тяжелая бедность. Абсолютная потеря себя. Я терпел, терпел. Потом понял, что вопрос стоит очень серьезно. Я начал буквально голодать, работал зеленщиком.

— И тогда вы согласились работать на «Свободе»?

— Приглашение со «Свободы» я получил сразу же. Но отказался. У меня же были грандиозные творческие планы! Но через три недели я поехал в Мюнхен снимать израильскую команду на Олимпийских играх. Террористический акт — израильских спортсменов убили...

Фильм не получился. Я решил подработать на станции. И мне очень повезло. Думал ли Солженицын, передавая мне чемоданы на отъезд, что моя вторая жизнь начнется с того, что я буду на радиостанции «Свобода» читать его Нобелевскую лекцию в течение восьми часов с перерывами на новости... 25 августа 1972 года...

— Услышав ваш голос, многие удивлялись в Советском Союзе, что вы живете в Германии.

— Я приехал не в Германию. Я приехал в страну эмиграции. Это было всерьез. Я заперся в очень узком кругу сотрудников радиостанции. Не все они были, скажем так, рукоподаваемы: многие носили форму СС, когда мой отец воевал в форме Красной Армии.

Я помню, как у меня дома сидел человек, мой коллега по имени Леня Махлес. А напротив сидел милый парень по фамилии Дурин, который сказал: «Эх, Ленчик, попался бы ты мне в 42-м году. Как бы я тебя из пулемета расстрелял! Бог ты мой...» Я выгнал этого человека из своего дома. Я думаю, что был достаточно брезглив: с людьми, которые служили у фашистов, старался не общаться...

— Вы не жалеете сегодня, что долгие 17 лет прошли на этой радиостанции?

— Нет. Уже тогда я понял, что не только непосредственное воспроизведение жизни имеет смысл, но и опосредованное. Документалистика в любом виде. Либерально-демократические настроения на станции очень заражают. И в основе лежит добро — это точно. Ко мне хлынул такой поток информации! Ко мне пришел самиздат: Василий Гроссман — «Все течет», Василий Аксенов — «Дни творения», потом Владимов, потом Войнович... Я счастливейший человек, я проартикулировал всю лучшую русскую литературу 70—80-х годов. Не мне судить, что получилось хорошо, что плохо. Важно, что она была четко произнесена и услышана в Советском Союзе.

А внутреннее... Я начал взрослеть. Я начал сам себя выращивать. Я понял, что самое главное: это чтобы мой дом, мои близкие, те, кто любит и понимает меня, были бы благополучны и не смотрели бы по сторонам с завистью.

— Радиостанция «Свобода» финансируется конгрессом США. Каковы ваши отношения с американскими хозяевами?

— Очень точное слово — хозяин. Хозяин тот, кто платит. Я хорошо понял на Западе, что тот, кто платит,— тот и должен заказывать музыку. Я усвоил правила игры. Я знаю, что я работаю и мне за мою работу хорошо платят. И сегодня мне совершенно безразлично, почему мой президент получает больше меня и насколько больше. Мне неинтересно, почему у него есть стоянка для машины около станции, а у меня нет. Таким он нанял меня на работу.

У нас есть кодекс сотрудников: мы не должны разжигать национальной вражды, не должны оскорблять своего слушателя, не должны слишком ругаться в адрес советского руководства. Советская пресса несет о тех, кого не любит, черт знает что, мы такого права не имеем.

А неприятностей ждешь скорее от своих, от русских. Было время, когда на станции правила горстка бездарных людей, пытавшихся применять советские методы редактирования и натравливавших американцев на неугодных сотрудников.

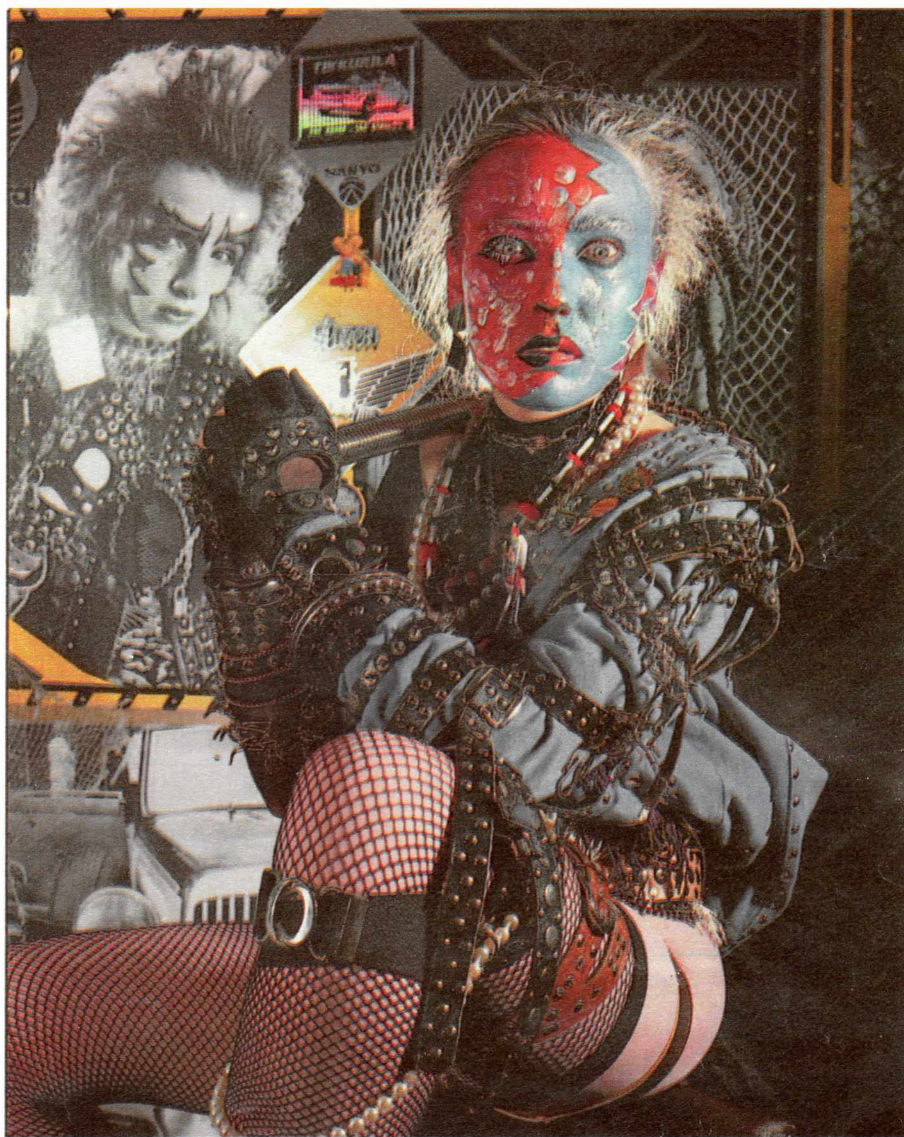
Например, я был принят на работу с испытательным сроком. Потом меня уволили, как профнепригодного, потому что якобы у меня не тот русский язык. Увольнял меня американец, но с подачи соотечественника. В день, когда я получил приказ об увольнении, из Советского Союза выслали Солженицына. Выйдя из самолета во Франкфурте, он сказал, что единственный человек, который хорошо его читает,— это Александр Виноградов (был у меня тогда этот псевдоним в честь Славы Виноградова, моего ленинградского друга). Остальные, по его мнению, читали отвратительно. Что сделали мои друзья, эмигранты, коллеги? Паника ведь началась: меня-то уволили. Тогда они взяли пленку и этот пассаж Солженицына вырезали... А один сердобольный техник принес мне со словами: «Тебе все равно в другом месте работать, возьми, приятно иногда послушать про себя хорошие слова». Тут во мне уже сработала профессиональная гордость. Я пришел к американцам, принес пленку и потребовал, чтобы ее перевели на английский язык и показали тем, кто меня увольнял. Помогло.

Сегодня уволить меня очень дорого. Я уже ветеран — у меня есть две серебряные ручки. Так что с каждым днем меня любят все больше и больше.

— 18 лет назад вы уезжали от зависи-

ОГОНЁК

ВДВОЙНЕ ХУДОЖНИК



Олег Дериглазов, человек в общем-то молодой, занимается художественной фотографией уже двадцать лет.

И все это время будучи фотолюбителем.

Позволю себе отступление. У нас многие годы не могут решить: кого считать в фотографии профессионалом, а кого — фотолюбителем? Если говорить не об уровне мастерства, а о штатном расписании, то есть о том, за что человек заработную плату получает. Ведь, строго говоря, фотолюбитель и Василий Михайлович Песков, поскольку получку ему в «Комсомолке» выдают как обозревателю, а не как фотокорреспонденту.



...Для Олега Дериглазова фотография долгие годы была областью, параллельной с другими видами его занятий. Учился в Томском университете, потом в Магаданском педагогическом институте на историка, филолога. Затем поступил во ВГИК на операторский факультет, в мастерскую В. Юсова. По окончании его работал на московском телевидении оператором в ведомстве кинотелерекламы. Получил первую премию на Всесоюзном фестивале рекламных фильмов.

Но потом судьба распорядилась так, что пришлось вернуться на родину — в сибирский Прокопьевск. Здесь он сегодня, как говорится, свободный художник.

Фотохудожник. А точнее, если не бояться этого якобы непрестижного слова, фотограф. Пожалуй, одна из самых заметных удач его — съемка шахтерских забастовок, фотографический анализ их проблем, насколько, естественно, возможно сделать это человеку с фотокамерой.

И все же любимые и главные для Дериглазова фотографические темы чисто художественного свойства. Женский портрет, обнаженная натура, да и просто красивое, что окружает нас.

«Форма как таковая,— говорит Олег,— для меня всегда на первом месте». Поиск необычно красивого, шокирующего своей красотой (недаром ведь занимался рекламой).

Интересное в биографии, в творчестве Дериглазова не только то, что, пройдя филологические, кинематографические университеты, он утвердился в светописи — такое сплошь и рядом (были случаи, когда ради фотографии покидали кафедры профессора). Интересно другое.

Репортер плюс художник — вдвойне репортер.

Художник плюс репортер — вдвойне художник.

Таков Олег Дериглазов.

Михаил ЛЕОНТЬЕВ







мости. И все эти 18 лет тем не менее оставались зависимым человеком.

— Я зависимый человек в правовой стране. Это очень важно. Главное, что я независим внутри себя. Даже если я читаю то, что меня не устраивает, у меня хватает хитрости и актерского мастерства (теперь уже, к 60 годам, можно говорить о мастерстве), чтобы интонационно, в полуслове сказать то, что я действительно думаю и чувствую. У меня всегда есть шанс убедить редактора в своей правоте.

Я зависим в другом. Завишу от банка, например. Мой американский дом — удивительный, лучше его нет в мире,— стоит весь в долгах. Но я уже сегодня живу в этом доме, а не мечтаю о нем. И это прекрасно. Человек на Западе имеет возможность жить так, как считает нужным. У меня есть возможность выбора. У меня нет ощущения безвыходности, какое было в России. Мир такой громадный. Я это ощущаю физически, а не потому, что облетел его вокруг. Я знаю, что я всегда найду себе применение. Если осточертеет станция, пойду водить такси, и это не стыдно. Не надо мне морочить голову, что человек работает для того, чтобы делать какое-то большое дело. Он работает для того, чтобы есть, пить, хорошо зарабатывать и жить так, как он считает нужным.

— Чем зависимость на Западе отличается от зависимости в Советском Союзе?

— В Советском Союзе мне могли закрыть любую работу и еще испортить жизнь. На Западе ты имеешь возможность отстаивать свою точку зрения в честных дискуссиях, но даже если твою программу или передачу не выпустят в эфир, тебе всегда объяснят почему. Недавно у нас был горящий материал про Гдляна и Иванова с колоссальным количеством выпадов против Горбачева. Наши американские цензоры по политике его не разрешили выпускать в эфир. Редактор, готовивший эту программу, расстроился. И тем не менее он считает, что ее не пустили правильно. Точка зрения одного человека, переданная по телефону из Советского Союза, может быть совершенно неадекватной. Кроме того, ведь до сих пор никто не знает, что же это за дело — Гдляна и Иванова? В чем их вина, если она есть? В чем недозволенность методов именно их работы?

— Вся стена в вашей квартире увешана фотографиями знаменитых людей, живших или живущих в Советском Союзе. Это ваши друзья?

— Это люди, так или иначе вошедшие в мою жизнь. Высоцкий. Я делал о нем передачи более 1000 раз. Когда впервые на радиостанции я выпустил в эфир его песни, многие говорили: «Боже, как же ты можешь пускать этого хулигана!» Миша Барышников. Очень смешная фотография. Это период, когда он собирался играть Чонкина (и я уверен, сыграл бы замечательно!)... Наташа Макарова, Слава Кузнецов. Лужков... Фрид... Юра Каморный... Слава Виноградов... Иосиф Бродский... Максим Шостакович... Мой сын Игорь, ныне американский актер...

Эти фотографии — рассказ о том, как люди выжили, выстояли... Искус опуститься и стать никем в отрыве от Родины очень велик, потому что проблем на Западе гораздо больше. Никто не помогает, языка не знаешь. Все начинается сначала. Как будто тебя кормят манной кашей с ложечки. Ты вдруг начинаешь смотреть на мир, в котором должен сам за все отвечать. Своей работой. Своим бытом. Своим словом. Своей подписью. Очень сложная и трудная жизнь. И удивительно прекрасная.

— Считаете ли вы, что состоялись?

— Да. Состоялся на тот размер, на который был скроен. Если бы я сейчас жил в России и снял бы за это время дюжину дерьма... У меня была бы обида и возможность жаловаться на дядей и теть, которые мне не дали... И еще я бы завидовал Феллини. Я всегда ему завидовал. А сегодня у меня 40 миллионов слушателей, я диктор, который произнес все самое лучшее, что сегодня говорится, слышится, пишется и читается... Вы шутите? Конечно, состоялся. Сейчас я еще издаю книжку. «Александр Галич у микрофона». Это, кстати, может быть, самое важное, что я сделал. Я спас пленки с его выступлениями, когда их собирались выбрасывать за ненадобностью. А потом, Бог даст, будут другие книжки...

— Готовясь к съемкам, мы собрали множество газет, которые писали про вас. Очень интересно проследить, как менялись отношение и эпитеты: от прямых обвинений в антисоветчине до сдержанно-благополучных отзывов сегодня. Вам не хотелось бы ответить тем авторам, которые вас обвиняли?

— Да дураки они все.

Вот вы спрашиваете: не хочу ли я ответить? А кому? Если под статьей стоит подпись, это же ничего не значит. Эти же абзацы ходили из статьи в статью. Они были набраны на века и вставлялись в статьи к месту и не к месту. В этом же их позор!

Какой-то парень написал в своей книжке, что, еще учась с ним в школе, я уговаривал его уехать из Советского Союза. Это я-то? Председатель пионерской дружины в школе на улице Мархлевского, рядом с КГБ, в классе, где половина — дети сидевших, а другая половина — дети сажавших? Это там я нашел какого-то Мильштейна и уговаривал его уехать? Я — секретарь комитета комсомола, член райкома? Да в 49-м году, когда я учился в школе, Сталин был жив. О чем вы говорите?

— Можно ли сказать, что вы стали западным человеком, или все же остались нашим?

— Я стал вашим западным человеком. Я уверен, что люди моего поколения, моего круга — западники. Мы же воспитывались на джазе, на коктейль-холле. Об этом прекрасно написали Василий Аксенов в «Ожоге» и Александр Кабаков в своих джазовых повестях.

— Но ведь, работая на радиостанции, вы все равно живете советскими проблемами, нашей жизнью?

— Вашими проблемами мы не живем, мы их артикулируем.

Недавно я заполнял анкету в советском консульстве для поездки в Советский Союз. И впервые за много лет столкнулся с графой — национальность. На Западе ведь существует только гражданство. Я американец. А вот какая же у меня национальность? Я крепко задумался. Кто я? Русский? Нет. Еврей? Не еврей. Я эмигрант. «Это великая привилегия — быть эмигрантом!» — сказал как-то умный беженец еще из фашистской Германии...

— Вам свойственна ностальгия?

— Галич рассказывал, как написал песню «Когда я вернусь». Ему много говорили о ностальгии. Он решил отностальгироваться на Родине, сидя в своей собственной квартире в Москве. Написал эту песню, чтобы не мучиться потом...

Свойственна ли мне ностальгия? Мучает ли она? Ностальгия — это боль. У меня нет ностальгии по березкам (их в мире полно). Для меня это понятие не географическое, а историческое. Боль по прошлому, когда мы были молоды и многое могли бы... и многое делали... Вспоминать это больно... А так... Нет, не ностальгия... Колоссальное любопытство: что у вас там будет? Как вы там? Вывернетесь? Нет?.. Насколько я понимаю, все, что мы делаем на радиостанции «Свобода», мы делаем для того, чтобы вы вывернулись...

*

Когда мы уезжали из Мюнхена, Юлиан и Людмила Паничи сдавали билеты в Москву. Советское консульство не оформило им визы для поездки. А их очень ждали здесь, на Родине. Были объявлены встречи и вечера, но об этом никто не думал. Они снова услышали знакомую фразу: «Но вы же понимаете?!» Они снова развели руками и сказали: «Да. Мы все понимаем...»

А мы придумали ему прозвище: безвизник... Невозвращенец, отказник, изгнанник, безвизник. Господи, когда же это кончится!..

ВСТРЕЧА ВТОРАЯ. МОСКВА И ЛЕНИНГРАД.

— Расскажите, что же произошло с вашей визой?

— Мы ничего не знаем. Мне дали визу уже после закрытия консульства. Я знаю, что звонил министр культуры Н. Губенко и занимался нашим вопросом. Мы очень ему благодарны...

— Ходят слухи, что председатель КГБ Крючков тоже этим занимался.

— Я знаю, что ему было написано письмо теми людьми, которые ждали нас здесь... Если он действительно этим занимался, то странно, что председатель Комитета государственной безопасности занимается этим в тот момент, когда есть Литва, Грузия, Украина и общество «Память». Лучше бы занимался «Памятью». Пора уже все же отличать, где безопасность, где госбезопасность, а где опасность.

— Вы говорили, что на радиостанции «Свобода» вы гораздо информированнее, чем мы, живущие в Советском Союзе. Не разошлось ли ваше представление о стране с тем, что вы увидели?

— У меня шока нет. В этом парадокс работы на станции. Мы ежедневно смотрим ваше телевидение, читаем и получаем около 400 советских газет, встречаемся с приезжающими из Советского Союза...

У меня шок от Ленинграда. Я не подозревал, что город может быть таким запущенным. Когда 25 лет назад мы снимали фильм «Ты видишь, я не забываю» и искали дома, которые шли на снос, чтобы снять кусочек блокадного, спокойного Ленинграда,— это было невероятно трудно. Сегодня можно снимать везде и без зазрения совести.

В Москве меня убила грязь на улицах. Хамство таксистов привело в ужас...

Но если, увидев плохих таксистов, очереди у пивных магазинов, пустые лавки, одежду моих близких, брать все это за критерий страны,— это будет очень поверхностно и легковесно.

— Что же брать за критерий страны?

— Вчерашний зал в Театре Ленинского комсомола в Ленинграде. Добро зала. Глаза друзей. Это критерий. Это надежда.

Я не тот человек, который приехал давать советы. Дважды в одну реку вступить нельзя. Но, когда я увидел лица людей в зале, когда осознал, что я — в Советском Союзе, на сцене театра, в котором работал 30 лет назад, понял, что произошло что-то очень правильное...

— И все-таки, приехав на Родину 18 лет спустя, встретив друзей, вы не жалеете, что тогда совершили этот поступок?

— Нет. Я был на грани своего конца — и физического, и морального. Я был на пределе: одно дыхание кончилось, другое не наступало. На Западе я столько узнал! Нет. Не жалею...

— Если бы можно было все начать сначала?

— Это красивый вопрос, но абстрактный. Мне сложно вспомнить свои ощущения 20 лет назад. Я не могу уже представить себя молодым. Я что-то вспоминаю, но эти воспоминания очень поверхностные. Я понял здесь, что по натуре я очень советский тип... В силу своего воспитания хотя бы... Мне нравится сегодняшнее бурление в прессе, в жизни. Я даже включился в общественную жизнь. Но это же кошмар. Деньги есть, а делать никто ничего не умеет. Все погрязли в мелочах, ерунде. Коротенькие мыслишки, размаха не хватает. Западный подход к делу нужен. Тяжелое ощущение — материальная беда при полном формальном благополучии. Снаряды не рвутся, но улицы как после бомбежки. Дома разрушены, а все продолжают ездить друг к другу в гости, переступая через кошачье дерьмо в подъездах, наркоманов на лестницах и пьяных у порога своей квартиры. Во всем этом есть какое-то занудство. Все жалуются, но никто ничего не делает. Не хватает вам бодрости. Так что мне сложно начинать все сначала. Я доволен своей жизнью.

— Что произвело на вас наибольшее впечатление?

— Вчера пришла записка из зала: «У нас в стране страшный антисемитизм. Что нам делать? Уезжать? Или нет? Так жить мы не можем...»

Я прочитал записку и замер. Первое — я не в материале. Второе — я не понимаю, что значит антисемитизм? Начальственный антисемитизм мне понятен — разделяй и властвуй. Всегда была очень простая ситуация: начальники всех остальных держали в дерьме — и евреев, и неевреев... Но, когда начинается разговор о бытовом антисемитизме, о том, что на улицах страшно, что на дверях квартир свастики рисуют, что я могу сказать? Чем утешить? Общество нецивилизованное и обществу должно быть стыдно? А людям что? И что я должен в этой ситуации делать? Советовать уезжать в страну цивилизованную? Эмиграция — это же очень сложная, трудная, тяжелая жизнь. Особенно для интеллигенции, которая острее все чувствует. Это же скатиться сразу на 8 классов вниз. Уже не будет бабушек и дедушек, которые водили в детский садик, а потом учили играть на скрипочке. Нужно решиться, спасая свою жизнь (если уж речь идет о жизни и смерти), попасть в совершенно другой мир, жесткий, хотя и очень справедливый. Это очень серьезно. Я не могу, не имею права толкать людей на это... И разговор вчера получился такой страшный... Были такие паузы, о которых и Сальери не мечтал. Весь зал заплакал. Я испугался!

— И все же. Мне или представителям моего поколения вы бы посоветовали уехать?

— Да. Однозначно. Уезжайте. Устраивайтесь в том проклятом мире. Вы должны сами, на своей шкуре понять, где лучше.

Единственное, чего делать не нужно,— это рубить концы. Рубить не надо. Возьми паспорт на 5 лет (он не так дорого стоит). А дальше крутись в том обществе, где никто никому не помогает. Я часто слышу жалобы: Америка не принимает, не помогает. Это жалобы людей, которые надеются на пособия. А почему, спрашивается, я должен платить налог на это пособие. Я говорю сейчас очень шкурно. Почему мой сын, ни в чем не виновный, должен из своего мизерного бюджета отдавать часть? Хотите уезжать, устраивайтесь сами.

— Как вы относитесь к идее всепрощения, если это можно так назвать? Дело в том, что, когда приезжал Ростропович, он обнимался и целовался с людьми, которые его в свое время гноили, унижали... На это многие обратили внимание.

— У меня происходит то же самое. Я тоже целовался с людьми, которые не были, скажем так, дворянами по отношению ко мне. Видимо, есть все же что-то в русско-христианской философской системе с подставлением щек. Я очень благополучен. Когда человек начинает жить хорошо...

— Он жалеет тех, кто живет хуже?

— Наверное, так. Я не могу простить одного. Я не могу простить тех людей, которые однажды затащили всех нас в дерьмо и сегодня упорствуют, не желая уступить дорогу молодежи.

Я всегда в своей жизни ориентировался на людей, которые моложе меня. Я априори знаю, что они правы, потому что им это дерьмо не один год хлебать, пока они доживут до моего возраста...

— Что еще из здешних впечатлений вы будете вспоминать по возвращении домой?

— Вчерашнее мое выступление — это пик любой персональной карьеры. Я это прекрасно осознаю. Вся моя жизнь с отъездами, приездами, работой и т. д.— все было спрессовано, чтобы состоялся такой вечер. Звездные часы человеческой судьбы нужно обязательно поймать, не пропустить, осознать (что очень трудно) и после этого делать то, что тебе хочется.

— Что хочется вам?

— Я мечтаю снять картину по повести Александра Кабакова «Тусовщица и понтярщик». Это секс, кровь, возраст, страх смерти, общий страх и человеческие отношения страшного апокалипсического периода...

Ирина КОНОВАЛОВА

МИХАИЛ ШОЛОХОВ КАК ЗЕРКАЛО РУССКОЙ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

ПЕРЕЧИТЫВАЯ ЗАНОВО ИЗВЕСТНЫЙ РОМАН СОВЕТСКОГО КЛАССИКА

Сначала книгу «Поднятая целина» читали почти как пособие по классовой борьбе и коллективизации, не ставя под сомнение ни ее реализм, ни идейную направленность. Достаточно того, что в центре романа были большевики, а уж правы они или нет, справедливо ли и перспективно их дело — определяли для читателя не писатель и не сам роман, а окружающая жизнь и установки партии. Насколько примитивная, настолько же и мощная новая мифология не только не позволяла широкой аудитории различать оттенки многообразной действительности, но и заставляла легко и убежденно воспринимать черное как белое и наоборот. Кулак — вредитель, интеллигент — подозрительный тип, человек в галстуке — мещанин... Подобные стереотипы резко преломляли отношение к жизни и к литературе.

Позднее роман стал почти учебником истории, своеобразным первоисточником, из которого узнавали о коллективизации и ее коллизиях, основываясь, увы, на тех же стереотипах.

В самое последнее время, когда мы начали отказываться от прежних догм и стереотипов, когда на нас хлынул буквально потоп фактов, документов, свидетельств разных периодов отечественной истории, возник парадокс — расхожим стало мнение: все было не так, как писал Шолохов. Слишком знакомым кажется роман, чтобы перепроверять это мнение. Но все же спросим себя: не так писал Шолохов или не так мы его читали? О чем же его роман, что хотел показать сам писатель, как относился к происходящему, к своим персонажам?

...Пожалуй, самый колоритный образ в «Поднятой целине» — Макар Нагульнов, секретарь Гремяченской ячейки. Мы любили Нагульнова всей душой, сильнее даже, чем душку Давыдова. Мы любили его за то, что он старый член партии, бывший красный партизан, орденоносец-краснознаменец, за то, что он честный, бескорыстный, бескомпромиссный боец революции, бесконечно преданный ее идеалам. За это прощали Макару «некоторые перегибы». Говоря словами Давыдова, «путаник, но ведь страшно свой же!». Вот главное: мы были с Нагульновым свои, в одном окопе, и он, отдавший все силы и саму жизнь за наше общее дело, был для нас героем.

Сегодня, когда так стремительно изменилась вдруг вся жизненная система координат, мы с Нагульновым оказались едва ли не по разные стороны баррикад. Мы взглянули на него с новой, с противоположной точки зрения и ужаснулись: да ведь он экстремист, жестокий, страшный тип! Ему ничего не стоит ударить человека, под дулом нагана добиться у него ложного оговора, выудить расписку, арестовать невинного, совершить самосуд. А как убеждает он Давыдова насчет владельцев личного скота: «Режут скотину, гады! Готовы в три горла жрать, лишь бы в колхоз не сдавать. Я вот что предлагаю: нынче же вынести собранием ходатайство, чтобы злостных резаков расстрелять!.. На чем будем сеять.., ежели не вступившие в колхоз быков перережут?.. Сема! Жаль ты моя! Чего у тебя мозга такая ленивая?.. Ить пропадем мы, ежели с посевом не управимся!.. Надо беспременно расстрелять двоих-троих гадов за скотину!» Ничего себе! Да ведь и расстреляет хозяина коровы за то, что тот посмел собственной живностью распорядиться по своему усмотрению, и оправдает произвол интересами дела. Этот абстрактный гуманист будет убиваться: «В сердце кровя сохнут, как вздумаешь о наших родных братьях, над какими... буржуи измываются». Однако жалость, проявленная Разметновым к конкретным малым ребятишкам раскулаченного Гаева, которых в январскую стужу вышвырнули из дома, доводит его до истерики: «Как служишь революции? Жа-ле-е-ешь? Да я... тысячи станови зараз дедов, детишек, баб... Да скажи мне, что надо их в распыл... Для революции надо... Я их из пулемета... всех порежу!»



Художник Борис ДЯТЛОВ

Но в 1930-м не слышно команд «порезать всех из пулемета», борьба «за идею» ведется иными методами. Да и установка на мировую революцию устарела — идет «строительство социализма в отдельно взятой стране». И сорокалетний партизан ищет себе применение, превращая в поле битвы любую хозяйственную кампанию. Благо они действительно напоминают боевые действия. Когда же наган неуместен, становится лишним и Нагульнов. Он изнывает от бездействия, болтается по роману, то скупая хуторских петухов и устраивая «небесные хоралы», то философствуя ночами со Щукарем, то зубря английские слова. Пытается помогать председателю колхоза по хозяйству, но он к этому не приспособлен. Ему скучно. И Шолохов, сжалившись, убивает его.

Да, мы любили Нагульнова. Теперь впору ужасаться. Но ведь Шолохов с самого начала не идеализировал его, не любовался им, ничуть не приукрашивал — оставил таким страшным и одновременно убогим, какими и были Нагульновы в действительности. Готовые бросить в жертву абстрактной идее весь мир, сами они оказались ее первыми жертвами.

Нет у Нагульнова ни своего уютного гнезда, ни родных, ни привязанностей, ни детей. Хуторяне с опаской сторонятся его, товарищи по партии считают чудаком, единственный собеседник его и родственная душа — дед Щукарь.

В сущности, до предела схематичный образ секретаря партийной ячейки — это олицетворение раздетой до неприличия казарменно-коммунистической идеи. Нет, не может нормальный человек выдержать проверку этим непосильным грузом. Потому и Нагульнов у Шолохова одинокий, ущербный, глубоко страдающий от своего добровольного аскетизма. Контуженый рыцарь революции. Не потому ли мы сочувствовали ему, что сами были сильно контужены красной идеей?

...Для представителя Советской власти Андрея Разметнова не находит Шолохов ни героических, ни трагических красок. Тут тем более не может быть и речи об идеализации — образ председателя сельсовета беспощадно реалистичен, узнаваем даже в сегодняшних его преемниках. Легковесный, никчемный человек, поставленный у власти, по своей природе неспособен быть устроителем новой жизни.

Хозяином он отроду не бывал. Когда в 1913-м двадцатитрехлетним уже женатым казаком, не обремененным детьми, уходил он на службу, то «не только коня,— и полагающееся казаку обмундирование не на что было ему купить». Овдовевший Разметнов сошелся, вернувшись с гражданской, с Мариной Поярковой, тоже вдовой. Андрей крыл ей хату чаканом, она зазвала его вечером в хату, угостила, поднесла стаканчик и сама предложила переночевать. «Уже перед зарей она спросила: — Придешь завтра хату докрывать?.. Не ходи... Ну, уж какой из тебя крыльщик! Дед Щукарь лучше тебя кроет,— и громко засмеялась: — Нарочно тебя покликала!.. Чем же, окромя, приманутъ? То-то ты мне убытку наделал! Хату все одно надо перекрывать под корешок». Через два дня хату перекрывал дед Щукарь, «хуля перед хозяйкой никудышную работу Андрея». Люмпен Щукарь рукастей Андрея — и добавить к этому нечего.

Но вот он выбился в начальство, и казаки пеняют ему в ссоре: «В сапогах зиму и лето ходишь, а нам и на чирики товару нету!.. Комиссаром стал!.. Наел мурло...» Андрюшка гуляет по хутору «с уверенной ухмылкой, поигрывавшей в злобноватых его глазах», и грозится: «Мы им рога посвернем! Все будут в колхозе». Однако даже Нагульнову надоели его болтовня и безделье: «Почему же ты фуражечку на бочок сдвинешь и по целым дням сиднем сидишь в своем Совете, либо замызганную свою портфелю зажмешь под мышкой и таскаешь по хутору, как неприкаянный? Что, секретарь твой не сумеет какую-нибудь справку о семейном положении выдать?»

Хуторяне не выказывают представителю власти никакого почтения, по-прежнему кличут Андрюшкой и понимают насквозь: «Андрюшка Разметнов — этот рыском живет, внатруску, лишнего не перебежит и не переступит, пока ему кнута не покажешь... Значит, что ему остается делать при его атаманском звании? Руки в бока — и распоряжаться, шуметь, бестолочь устраивать, под ногами у людей путается...»

Скажите, ну какая из Андрюшки власть? Добрые люди никогда не отдали бы за него свои голоса, и будь выборы хоть чуть демократичнее, не видать ему должности председателя Совета. Но именно такая, картонная, декоративная Советская власть и такие марионетки-Разметновы устраивали власть подлинную. И лишь сравнительно недавно этой незадачливой чиновничьей братии вышел срок.

...Рабочий Давыдов. Он, конечно, главное действующее лицо уже потому, что приезжает он в Гремячий Лог — действие начинается, погибает — роман окончен. Именно Давыдов традиционно воспринимался как безусловно положительная фигура. Может быть, таким и хотел представить нам его Шолохов? Что-то не похоже. Иначе зачем бы он стал сообщать нам о герое такие неприглядные подробности?..

У Семена щербина во рту — зуба лишился по пьяному делу. Татуированная грудь. Татуировка сентиментальная и невинная, но на животе... Позвольте, но это-то уж зачем сообщать?.. Однако писателю виднее: «В годы гражданской войны молодой, двадцатилетний матрос Давыдов однажды смертельно напился. В кубрике миноносца ему поднесли еще стакан спирта. Он без сознания лежал на нижней койке, в одних трусах, а два пьяных дружка с соседнего тральщика — мастера татуировки — трудились над Давыдовым, изощряя в непристойности свою разнузданную пьяную фантазию...» Ладно, с кем не бывает. Ну еще картишками увлекался, особенно игрой в очко,— молодость, знаете ли... И то, что теперь, уже будучи 35-летним человеком, герой книги в руки не берет, тоже несущественно — эка невидаль! Настораживают более прозаические обстоятельства.

Почему, к примеру, в январскую стужу человек одет в поношенное пальтецо, кепчонку и старенькие скороходовские ботинки, а весь багаж его при переезде по новому месту работы составляют две смены белья, носки и костюм? Что это может означать? Ведь человек-то уже девять лет трудится слесарем на Краснопутиловском заводе — завидное место и солидный заработок. Большая семья? Нет, он одинокий. Почему так: мужик до тридцати лет болтается неженатым? Или порченый? Или роковая любовь? Да какая там любовь! «Были короткие связи со случайными женщинами, никого и ни к чему не обязывающие, только и всего... Кроличья любовь!» Где же это видано, чтобы заставлять положительного героя так срамиться перед читателем: «Чтобы поскорей забыть неприятное, он в смятении поспешно закуривал новую папиросу, думал: «...Ничего себе, достойно прожил с женщинами, не хуже любого пса!»

Нет, это кто хотите, но только не герой — легкомысленный тип какой-то. И зачем спровадил его Шолохов в деревню — в завклубы, что ли? Нет, это не Шолохов его направил, а партия. И не завклубом, а председателем колхоза. Он, видать, знаток? Казаки оценили это в первый же день: «Товарищ уполномоченный в сельском хозяйстве мало понимает, за плугом он, кубыть, не ходил по своей рабочей жизни и, небось, к быку не знает с какой стороны надо зайтить»,— деликатно замечают ему.

Сосватают вот этакого втемную, а он возьми да и начни тут же с парторговой женой амурничать. Подобного сатирического треугольника не сыскать во всей советской литературе. И антисоветской. Чтобы председатель колхоза загулял с женой партийного вожака, да чтобы оба они сохли по такой-то пустой, взбалмошной, капризной бездельнице Лушке, да чтобы этот треугольник разрешили не мужики, а она сама, предпочтя им обоим кулацкого сынка, развенчав их идейную, а заодно и мужскую мощь...— после такой карикатуры взаимоотношения героя с писателем и вовсе не укладываются в схему «кумир — обожатель».

«Меня послала к вам наша Коммунистическая партия и рабочий класс,— объявляет Давыдов собранию бедноты цель своего прибытия,— чтобы помочь вам организовать колхоз и уничтожить кулака как общего нашего кровососа». Видимо, «кровосос» вконец разоряет страну? Нет, как раз «кулака терпели мы из нужды: он хлеба больше, чем колхозы, давал»,— признает Давыдов. Так за что же? А за то, что в стране трудности с хлебом, а гегемон кушать хочет. «С хлебом трудности оттого, что кулак его гноит в земле, у него с боем хлеб приходится брать!» — вторит пропагандистским уткам Давыдов. Но если кулака уничтожить, он же хлеб вовсе перестанет производить — где же логика? Притом «кровососов» в Гремячем Логу несколько, а середняков двести — почему же Давыдов уверен, что «середняцко-бедняцким хлебом Советский Союз не прокормишь»?

Простим малообразованному балтийцу, что он не ведает истинных возможностей земли и тех, кто на ней живет. Но не простится тем, кто вбил ему в голову преступную ложь и сделал посланцем беды.

Давыдов чувствует себя в деревне едва ли не благодетелем. «Надо больше сеять»,— с классовым превосходством учит он жить «темного мужика». «Партия предусматривает сплошную коллективизацию, чтобы трактором зацепить и вывести вас из нужды... Пятьсот миллионов целковых дают колхозам на поправку, это как?» Да вот так: сколько есть у нас нынче земли — перепахали и засеяли; тракторов выпускаем больше всех в мире, подачками попрекаем крестьянина с каждой трибуны... Теперь, как та старуха у разбитого корыта, вздыхаем о несбыточной малости: хозяина бы вернуть.

Простите, а хозяин — это кто? Неужто... Но сперва давайте разберемся с теми, кто не хозяева. Разметнов с Нагульновым — не хозяева, это точно: один по бездарности, второй — из идейных соображений. Давыдов тоже определенно не хозяин. И не будет им никогда. Во-первых, хозяин — это человек особенный, это талант, которого по всем признакам питерский посланец лишен. А во-вторых, и это главное, не затем его партия в деревню послала, чтобы он тут хозяином стал. Не затем партия начала коллективизацию, чтобы мелких хозяйчиков сорганизовать в мощных коллективных хозяев-собственников, чтобы из мелкотоварной рыночной стихии возник рынок крупных самостоятельных производителей. Давыдов призван, а точнее, пожертвован, чтобы создавать принципиально иную, плановую экономику и послужить в административно-командной системе надежным винтиком. Давыдов как раз соответствовал целям и задачам текущего момента. Именно железная партийная дисциплина нашей сплошь партийной председательской гильдии являлась и поныне остается той арматурой, на которой держится система.

При первом же знакомстве секретарь райкома потребует от него «ежедневно коннонарочным сводки слать» и, поставив задачу — «гнать вверх до ста процентов коллективизации», скажет сакраментальное: «По проценту и будем расценивать твою работу». Знакомься, Давыдов, это теперь твои божки: План, Вал, Процент, Отчетность. «Смотри, Давыдов! Невыполнение важнейшей директивы райкома повлечет за собой весьма неприятные для тебя оргвыводы!» — стращает его секретарь райкома. «Семфонд должен быть создан еще к первому февраля, а ты...» Давыдов поначалу вздумает брыкаться: «А я его создам к пятнадцатому, факт! Ведь не в феврале же сеять будем?», но потом попривыкнет к хомуту, разберется, что не он здесь хозяин.

Сегодня век колхозных дилетантов-службистов на исходе. Как только откроются двери в рынок, Давыдовы окажутся не у дел. Их система рухнет.

Обманутое поколение — даже сегодня, когда мы знаем о них правду, эти романтики вызывают сочувствие. Неоднозначно отношение к ним и Шолохова: казалось бы, тем, что уготовил для главных героев совершенно не героическую смерть, писатель уже вынес им окончательный приговор, но тут же следует знаменитое признание: «Вот и отпели донские соловьи дорогим моему сердцу Давыдову и Нагульнову...» — выходит, он-таки их любил? Ну на то и настоящий писатель, чтобы всякого своего героя любить, как дитя. И уж так заведено в добропорядочных семьях, что больных, увечных, несчастных детей любят и балуют куда больше, чем здоровых.

...Итак, гремяченские коммунисты не хозяева и хозяевами не станут. Впрочем, и не рвутся — они главные устроители, администраторы. Ну а те, к кому по приезде обращается с пламенной речью Давыдов — тридцать два человека,— гремяченский актив и беднота? Нет, на них надежда хлипкая. Посудите: из 230 примерно дворов к 1930 году лишь эти и остались в хуторе при прежних нищенских обстоятельствах. За тринадцать лет новой власти только у них еще не нажито ничего — ничего, чему они были бы хозяевами. Восемнадцать таких-то состоят в товариществе по совместной обработке земли, о котором Нагульнов говорит: «Это есть одно измывание над коллективизацией и голый убыток Советской власти... Они кредиты берут, но отдать их не смогут и за долгий срок. Зараз объясню — почему: будь у них трактор,— другой разговор, но трактор им не дали, а на быках не скоро разбогатеешь. Еще скажу, что они порченую ведут политику, и я их давно бы разогнал за то, что они подлегли под Советскую власть, как куршивый теленок, сосать — сосут, а росту ихнего нету. И есть такие промеж них мнения: «Э, да нам все равно дадут! А брать с нас за долги нечего». Отсюда у них развал в дисциплине, и ТОЗ этот завтра будет упокойником». Нет, трактором подобные ТОЗы, с их иждивенческими настроениями, не вытянуть. Однако и погибнуть мы им не дадим. И они, только уже в образе убыточных колхозов, за пятьдесят лет так «подлягут под Советскую власть» и так привыкнут качать средства и права, что не только разогнать их, как предлагал Макар, но и обнести их общественной ложкой нынче не могли.

Понятно, что середняки не желают с бедняками смешиваться: «Я буду стараться в колхозе, а другой, вот как наш Колыба, будет на борозде спать. Хоть и говорит Советская власть, что лодырей из бедноты нету, что это кулаки выдумали, но это неправда. Колыба всю жизню на печи лежал. Весь хутор знает, как он одну зиму на печи так-то спасался, ноги к двери протянул. К утру ноги у него инеем оделись, а бок на кирпичине сжег. Значится, человек до того обленился, что с печки и по надобности до ветру встать не могет. Как я с таким буду работать? Не подписуюсь на колхоз!»...

Академик ВАСХНИЛ В. А. Тихонов, комментируя недавно в печати социологическое обследование современной деревни, особо выделил такую группу: «20 процентов не работают ни при какой системе. Они были и раньше — Щукари, Якуши Ротастенькие,— но Советская власть социальным иждивенчеством создала для них исключительно благоприятные условия».

Конечно, в Гремяченском ТОЗе не сплошь люмпены, есть там и старательные, как Ушаков и Любишкин, работники. Однако исполнительный работник еще не есть хозяин. И вовсе не потому, что у одного что-то нажито, а у другого нет. Одно то, что человек наживает, приумножает и бережет собственность, вызывает у Любишкина такую же, как у Нагульнова, оголтелую враждебность к любому. Даже к бывшему бедняку и своему товарищу Титу Бородину, историю которого Нагульнов рассказывает Давыдову на собрании бедноты:

«Этот Бородин... в восемнадцатом году добровольно ушел в Красную гвардию. Будучи бедняцкого рода, сражался стойко. Имеет раны и отличие — серебряные часы за революционное прохождение... И ты понимаешь, товарищ рабочий, как он нам сердце полоснул? Зубами, как кобель в падлу, вцепился в хозяйство, возвернувшись домой... И начал богатеть, несмотря на наши предупреждения. Работал день и ночь, оброс весь дикой шерстью, в одних холстинных штанах зиму и лето исхаживал. Нажил три пары быков и грызь от тяжелого подъема разных тяжестев, и все ему было мало! Начал нанимать работников, по два, по три. Нажил мельницу-ветрян-

ку, а потом купил пятисильный паровой двигатель и начал ладить маслобойку, скотиной переторговывать. Сам, бывало, плохо жрет и работников голодом морит, хоть и работают они двадцать часов в сутки да за ночь встают раз по пять коням подмешивать, скотине метать. Мы вызывали его неоднократно на ячейку и в Совет, стыдили страшным стыдом, говорили: «Брось, Тит, не становись нашей дорогой Советской власти поперек пути!..» Нагульнов вздохнул и развел руками.— Что можно сделать, раз человек осатанел? Видим, поедает его собственность! Опять его призовем.., уговариваем, грозим, что в землю затопчем его, раз он становится поперек путя, делается буржуем и не хочет дожидаться мировой революции... И мы его лишили голосу гражданства. Он было помыкнулся туда и сюда, бумажки писал в край и в Москву. Но я так понимаю, что в центральных учреждениях сидят на главных постах старые революционеры и они понимают: раз предал,— значит, враг, и никакой тебе пощады!»

Конечно, писатель не в силах изменить эту коллизию. Однако он дает такую убийственную отповедь устроителям новой жизни и так нарочито искусственно пристегивает ее к сюжету, что не остается сомнений, на чьей стороне его пристрастия и сама истина. «Ну он, то есть Титок, нам отвечает: «Я сполняю приказ Советской власти, увеличиваю посев. А работников имею по закону... Я был ничем и стал всем, все у меня есть, за это я и воевал. Да и Советская власть не на вас, мол, держится. Я своими руками даю ей что жевать, а вы — портфельщики, я вас в упор не вижу».

Приятно, однако, повстречаться с таким неординарным человеком. Его осмысленные поступки, логичные рассуждения, его деловая хватка и даже лексикон выдают в нем человека совсем иного, качественно отличного не только от Щукарей, но и от Ушаковых и Любишкиных. Это хозяин.

В то время как Бородин старается «из ничего стать всем», Любишкину требуется поводырь: «Я сам до колхозного переворота думал Калинину письмо написать, чтобы помогли хлеборобам начинать какую-то новую жизню. А то первые годы, как при старом режиме,— плати налоги, живи как знаешь. А РКП для чего? Ну, завоевали, а потом что?»... В то время, как Любишкин с Ушаковым оправдывают свою нищету многодетностью и нехваткой рабочих рук, в хуторе крепнут хозяйствами кулак Гаев, у которого одиннадцать детей, Фрол Дамасков — «маленький тщедушный старичишка», единственная опора которого в двадцатидвухлетнем сыне, и даже вдовая пожилая уже Марина Пояркова... Хозяева собираются силами в машинном товариществе вокруг Фролова двигателя, а Любишкин проедает свой ТОЗ, жадно косится на чужое и торжествует наконец: «Двигатель-то у вас в прошлом году отняли. А зараз мы и Фрола твоего растребушили с огнем и дымом!»... Ну и отняли, ну и растребушили — ну и что? Фрол-то минувшим летом не захотел отдать хлеб, у него силой отняли и штраф ему присудили, а он... «Он опять на энтот год будет Фролом Игнатичем! А весной опять придет меня наймать!» — недоумевает возмущенный Любишкин, и вот этого ему решительно не понять: «...Все разговоры, да разговоры «кулака уничтожить», а он растет из года в год, как лопух, и солнце нам застит».

Так и водит перед нами Шолохов этого Любишкина, как сомка на удочке, так и демонстрирует со всех сторон лучшего в хуторе наемного работника. Пока мы не уясним крепко, что даже старательному работнику до настоящего хозяина — как до Луны. «Отдайте нам его машины, его быков, силу его отдайте, тогда будет наше равенство!» — не унимается Любишкин, наивно полагая, что, завладев чужим добром, он автоматически станет сильным, талантливым, предприимчивым культурным хозяином. Он и Давыдова сразу принял душой потому, что почуял в нем своего союзника. Ведь тот, не смущаясь, объявляет, что прибыл сперва учинить разбой, а потом из награбленного собирать колхоз: «В этом и есть политика нашей партии!.. Уничтожить кулака как класс, имущество его отдать колхозам, факт!»

Но подобный «факт» уже имел место в семнадцатом: отобрали и разделили — что ж, разбогатели? Нет, проели до дна, снова кушать охота. Хлеб нужен теперь же, а обещанных тракторов еще ждать и ждать — чем же вооружить будущих колхозников? «Кулаков громить ведите!» — возбужденно вторит Давыдову гремяченский актив и беднота, сразу оценив цели и задачи момента. Снова отнимем и проедим, жаль, «кровососов» маловато. Ничего, зато уж потом двинем широким фронтом на середняка, тем более этому еще не вполне окрепшему хозяину загодя приклеен соответствующий ярлык «подкулачника».

Разбой в «Поднятой целине», надо сказать, описан преобычный, вызывающий у нормального человека, как и положено, возмущение и гнев. Грабители тоже рядовые: жадные до мелочности, развязные, безжалостные, упоенные превосходством силы. Но что касается «кровососов», их поведение никак не соответствует ситуации — они не взывают о снисхождении, не валяются в ногах, не юлят, выдабриваясь.

И особым покровительством Шолохова пользуется Бородин. По Титку уже скучает ГПУ, ну так пусть он хоть на словах разочтется с «товарищами», понасмешничает, играя «острыми, как у хоря, но веселыми глазами»: «Имущество забираете, да еще отрез последний? Кулак должен быть с отрезом, так про него в газетах пишут. Беспременно чтобы с отрезом. Я, может, им хлеб насущный добывать буду, а? Селькоры мне без надобностев...»

Ну, Титок! Как он это тонко, особенно,— кто понимает — про селькоров! До боли жалко терять таких-то людей. Ладно хоть Шолохов позволяет ему вдоволь покуражиться над Нагульновым и даже напоследок садануть пару раз по голове железной занозой самого зачинщика Давыдова, уронив его пролетарскую гордость.

Ну а как же защищаться жертвам произвола? Тимофей Дамасков, к примеру, рванул в город к прокурору — права качать, но, вернувшись, «рассказывал о том, как сурово встретил его прокурор, как хотел вместо рассмотрения жалобы арестовать его и отправить обратно в район». Прокурор, безусловно, понимает, что в Гремячем творится беззаконие. Но, как юрист, прокурор знает также, что в стране давно правит не закон, а партийная диктатура.

Закон безмолвствует — значит, произвол санкционирован свыше. Как сообщает нам Шолохов в самом начале романа, в 1930 году правоохранительные, карательные органы, армия, огромный аппарат были в непосредственном подчинении мощного ареопага. Прибывший из Ленинграда Давыдов задается философским вопросом: раз в «Правде» опубликована речь Сталина, в которой вождь дает директиву «повести решительное наступление на кулачество, сломить его сопротивление, ликвидировать его как класс...», «почему нельзя совсем его — к ногтю?». Секретарь райкома, отчаявшись убедить Давыдова, что таким манером можно спугнуть середняка, режет ему напрямую, как коммунист коммунисту: «Да уж будь спокоен! Если бы необходима и своевременна была такая мера, крайком прямо приказал бы нам: «Уничтожить кулака!..» И по-жа-луй-ста! В два счета. Милиция, весь аппарат к вашим услугам...».

Морально-нравственное убожество этих «пламенных революционеров» показано тут, конечно, в обнаженном варианте. Но главное, дана точка отсчета абсолютного бесправия личности, социальных групп и даже целых классов перед тоталитарной системой, с одной стороны, а с другой — самодурство и всевластие системы, не оставляющей ни малейшей надежды жертвам ее на защиту и справедливость.

Так же, как чистейшим произволом явилось раскулачивание, вне всяких норм морали и права осуществлялась проводимая параллельно коллективизация. Запуганные безнаказанностью бедняцкого актива, возглавляемого коммунистами, середняки идут в колхоз из страха стать очередной жертвой новой власти. Нагульнов признается: «Я за колхоз как агитировал? А вот как: кое-кому из наших злодеев, хотя они и середняки числются, прямо говорил: «Не идешь в колхоз? Ты, значится, против Советской власти? В девятнадцатом году с нами бился, супротивничал, и зараз против? Ну, тогда и от меня миру не жди. Я тебя, гада, так гробану, что всем чертям муторно станет!» Говорил я так? Говорил! И даже наганом по столу постукивал. Не отрицаюсь!»

После выхода в «Правде» известной статьи Сталина «Головокружение от успехов» люди, было, поверили, что «активистам» дан отбой и насилие прекратится, рванулись на волю, за одну только неделю из колхоза вышло около ста хозяйств. Однако свобода обернулась издевательской насмешкой: их выпустили, что называется, нагишом.

Даже Нагульнов, еще пару месяцев назад предлагавший расстреливать «разков», возмущается: «...Почему выходцам не приказано было возвращать скот? Это не есть принудительная коллективизация? Она самая! Вышли люди из колхоза, а им ни скота, ни инструмента не дают. Ясное дело: жить ему не при чем, деваться некуда, он опять и лезет в колхоз. Пищит, а лезет».

Так ломали, насиловали и укрощали хозяина.

Я знаю, что не все считают корректным говорить об утраченном чувстве хозяина с высоты современного опыта. Теперь, мол, когда эта категория снова в ходу, легко осуждать тех, кто уничтожал элиту крестьянства. Но они же, мол, не знали, что это элита, у них была иная иерархия ценностей, в которой хозяину не нашлось места.

Неправда. Хоть в «светлом будущем» для хозяина действительно не отводилось социальной ниши, однако, как и в любые времена, при новой власти цену хозяину знали. И не случайно назвать эту высокую цену в «Поднятой целине» писатель заставляет могильщиков хозяина. Распекая незадачливых тозовцев, Разметнов ни с того ни с сего вдруг восхищенно ахает: «Им бы в председатели Якова Лукича Островнова. Вон — голова! Пшеницу новую из Краснодара выписывал мелонопусой породы — в любой суховей выстаивает, снег постоянно задерживает на пашнях, урожай у него всегда лучше. Скотину развел породную. Хоть он трошки и кряхтит, как мы его налогом придавим, а хозяин хороший, похвальный лист имеет». А буквально через неделю-другую, пригласив Якова Лукича (и всегда-то и для всех он исключительно Яков Лукич) на должность колхозного завхоза, Давыдов выходит от него с пачкой агрономических журналов под мышкой, довольный результатами посещения и еще более убежденный в полезности Островнова. «Вот с такими бы можно в год перевернуть деревню! Умный мужик, дьявол, начитанный. А как он знает хозяйство и землю! Вот это квалификация!»

Ну, слава Богу, разглядели золотничок. Однако «устроители» не понимают, что такие-то золотнички в шлаке сплошной коллективизации поблекнут и потеряются. Им невдомек то, что очевидно для середняка Кузьмы: «В колхоз надо, по-моему, людей так сводить: какие работящие и имеют скотину — этих в один колхоз, бедноту — в другой, зажиточных — само собой, а самых лодырей на выселку, чтобы их ГПУ научила работать. Людей мало в одну кучу свалить, толку один черт не будет...»

Верно, только для этого нужно предоставить людям право кооперироваться добровольно. Но то, чего хотят от Островнова «устроители», не сбудется никогда — в административно-командную колхозную систему он не впишется. Тут противоречие неразрешимое: чтобы Яков Лукич и хозяином остался и сделался бы ручным, управляемым, ниже ростом — это невозможно.

Чего хотел Островнов в жизни, ради чего «всю жизнь тянулся к богатству»? Думал окрепнуть, «сына учить в новочеркасском юнкерском училище, думал купить маслобойку.., думал возле себя кормить человек трех работников.., открыв торговлишку, перекупить у неудачного мельника... полузаброшенную вальцовку... В думках тогда видел себя Яков Лукич не в шароварах из чертовой кожи, а в чесучовой паре, с золотой цепочкой поперек живота, не с мозолистыми, а с мягкими и белыми руками... Сын вышел бы в полковники и женился на образованной барышне, и однажды Яков Лукич подкатил бы за ним к станции не на бричке, а на собственном автомобиле...» Выражаясь популярно, мыслил он себя полезным обществу современным цивилизованным предпринимателем и уважаемым человеком — что в том плохого? Но Советская власть не дала развернуться Островнову в полную силу, «потому он и жил скучно, как выхолощенный бугай: ни тебе созидания, ни пьяной радости от него...»

Конечно, Островнов — враг Советской власти, он, как известно, враг-вредитель, да и вообще за ним числится ряд неблаговидных, аморальных и даже преступных поступков. Однако почему человек вступил в конфликт с системой? Послушаем-ка самого врага-вредителя:

«Вот зараз про себя вам скажу: вернулся я в двадцатом году из отступа... Вернулся к голому куреню. С энтих пор работал день и ночь. Продразверсткой в первый раз обидели товарищи: забрали все зерно под гребло. А потом этим обидам и счет я потерял. Хоть счет-то им можно произвесть: обидют и квиток выпишут, чтоб не забыл.— Яков Лукич встал, полез рукой за зеркало и вытянул, улыбаясь в подстриженные усы, связку бумаг.— Вот они тут, квитки об том, что сдавал в двадцать первом году: а сдавал и хлеб, и мясу, и маслу, и кожи, и шерсть, и птицу, и целыми быками водил в заготконтору. А вот это окладные листы по единому сельскому налогу, по самообложению и опять же квитки за страховку... И за дым из трубы платил, и за то, что скотина живая на базу стоит... Словом... жил я — сам возля земли кормился и других возля себя кормил. Хоть и не раз шкуру с меня сымали, а я опять же ею обрастал...»

Обидно Островнову: «Не будь гонения на богатых, я бы, может, теперь по моему старанию, первым человеком в хуторе был. При вольной жизни я бы зараз, может, свой автомобиль держал!» (Дался ему этот автомобиль!)

Ну и как вы полагаете, может нормальный человек любить своего мучителя, который воли его лишает, грабит бессчетно, унижает, ставит на колени? Тут и Шолохов, отступая от своих художественных принципов, дает откровенную лобовую ремарку: «Советская власть обижала Якова Лукича налогами и поборами десять лет, не давала возможности круто повести хозяйство, зажить богато — сытней сытого, Советская власть Якову Лукичу и он ей — враги, крестнакрест». Вот и разгадка: сначала «Советская власть Якову Лукичу», а уж потом «он ей». Это она раз за разом бьет наотмашь и подняться не дает, и за это уже он, не причинявший ей пока никакого вреда, пропитывается ответной враждебностью. За-

гнала его жизнь в угол, заставила огрызаться. Хотя по натуре Яков Лукич — и это подчеркивает писатель,— ну какой из него боец, ну какой в самом деле повстанец! — долготерпеливый обыватель, аккуратный налогоплательщик, трусоватый, не выносящий вида крови человек. Нет, это не Шолохов, а Советская власть кидает Островнова в объятия настоящим врагам, и он, став скорее заложником, чем пособником есаула Половцева, оказывается между молотом и наковальней.

Подпоручик Лятьевский говорит ему это откровенно: «А зачем ты, дура этакая стоеросова, связался с нами?.. Половцеву и мне некуда деваться... А вот ты?.. Ты, по-моему, просто жертва вечерняя. Эх, ты... Жук навозный!» И моментально «жук навозный», «жертва вечерняя» начинает оправдываться, что, конечно же, он не из каких-то там классовых или идейных соображений, а из одной только безвыходности положения: «Так житья же нам нету!.. Налогами подушили, худобу забирают, нету единоличной жизни, а то само собою, на кой вы нам ляд... и нужны. Я бы ни в жизню не пошел на такой грех!»

Островнов в убийстве Хопровых участвует, старуху-мать заморит единственно из страха разоблачения. В том, что колхозников заработком ущемляет, тоже никакого специального плана — тем более не себе же в карман! Из общественных кладовок тянет — на то и завхоз — святое дело. Он, конечно, заворачивает всем колхозным хозяйством по-своему, однако нет его прямой заслуги в том, что, по словам кузнеца Шалого, Давыдов «в колхозе не председатель, а так, пришей-пристебай», что он «свою власть из рук выронил, а Островнов поднял». А из непосредственного вредительства числятся за Яковом Лукичом во всем романе фактически только обмороженные быки. Предводители сопротивления нисколько не обольщаются по поводу личных вредительских достоинств своих подручных, да и по поводу явления в целом. Одноглазый подпоручик — не случайно Шолохов наделяет его склонностью «к объективной оценке действительности» — форменно потешается, смущая Якова Лукича и «цинически подмигивая» доморощенному злодею: «Разваливаешь колхоз?.. Какими же ты методами работаешь?.. Ведь ты же диверсионер... Ну что ты там делаешь? Лошадей стрихнином травишь, орудия производства портишь или что-либо еще?» Но «диверсионеру» не до шуток, ему тут же «захотелось пожаловаться на то, как болеет он душой, одновременно строя и разрушая обобществленное хуторское хозяйство...» То-то и оно, что хозяйское нутро, веками формировавшаяся созидательная направленность человека от земли мешают ему и вредительствовать-то путем.

Яков Лукич — враг-вредитель — на грош убытка колхозу приносит сотню прибыли. По его инициативе обустраиваются теплые базы, начинается сооружение сети накопительных прудов, он уговаривает колхозников загатить Дурной Лог, из года в год размывавший богатые земли, доказывает выгодность хуторского кирпичного заводика... Так и суждено этой «жертве вечерней» разрываться между большевистскими мечтателями и белогвардейскими авантюристами. Мечтатели думают, приручив хозяина, его руками «в год перевернуть деревню», то есть дать стране хлеб. Авантюристы хотят его руками задушить Советскую власть. И тем, и другим Яков Лукич нужен только как «человеческий материал», как средство достижения своих целей. Хозяин как таковой — хлебороб, личность, самоценная человеческая единица — не интересен ни тем, ни другим.

Но не суждено сбыться мечтам коммунистов, обречена на провал и повстанческая авантюра.

Коммунисты промахнулись с самого начала, еще когда в своем манифесте поставили варварскую задачу перековать «жуков навозных» в работников сельскохозяйственных фабрик. Пролетарий Давыдов, прибывший для этого в деревню, сразу же встал в тупик — не от своего бессилия переломить или подчинить людей, а от неспособности понять их. «Упорное нежелание большинства середняков идти в колхоз, несмотря на огромные преимущества колхозного хозяйства, было ему непонятно... Хутор был для него как сложный мотор новой конструкции, и Давыдов внимательно и напряженно пытался познать его, изучить, прощупать каждую деталь, слышать каждый перебой в каждодневном неустанном, напряженном биении этой мудреной машины...» Но случайно ли Шолохов использует именно такой образ или подсказывает, насколько сильно заблуждается Давыдов, рассчитывая овладеть «мудреной машиной»? Ведь механическим путем это так же невозможно, как Любишкину стать хозяином или как научиться сочинять стихи. Именно полное непонимание и игнорирование тонкой, хрупкой творческой природы хлеборобского труда, личностного, почти что интимного его характера, ничего не имеющего общего с работой на промышленном предприятии, и есть смертоносный стержень разрушительного процесса, плоды которого мы сегодня пожинаем.

Пожалуй, самый важный урок «Поднятой целины» состоит как раз в том, что никакие враги Островновы не способны навредительствовать колхозному строю больше, чем он сам, больше, чем колхозная уравниловка, обезличка, администрирование, отчуждение человека от средств производства.

В Гремячем колхоз еще только образуется, самая созидательная пора, а Майданников примечает: «Трудно будет... Видал вон: трое работают, а десять под плетнем на прыципках сидят, цигарки крутят». Еще только свозят в общий котел личное добро, а сын бедняка Семена Куженкова, перевернув сани с сеном, на упреки Майданникова и Ушакова огрызается: «Оно теперича не наше, колхозное». Через короткое время Майданников снова поминает этого парня недобрым словом: «Вчера дежурил Куженков, коней сам не повел поить, послал парнишку; энтот сел верхи, погнал весь табун к речке в намет. Напилась какая, не напилась — опять захватил в намет и — до конюшни». Спустя месяц уже Куженков-родитель отравил негодной кормежкой всех лошадей... Да одни эти Куженковы, без злого умысла, так, от лени и небрежности, навредительствуют в колхозе столько, что Якову Лукичу и не снилось. «И никому не скажи супротив, оскаляются: «Га-а-а, тебе больше всех надо!» — досадует Майданников.

Давыдов, человек в деревне новый, никак не возьмет в толк переживаний Майданникова, успокаивает его: «Ты не волнуйся. Ты поспокойнее. Все в наших руках, все оттяпаем, факт! Введем систему штрафов, обяжем бригадиров следить под их личную ответственность». Он по наивности предполагает внедрить здесь заводскую систему контроля. Но это не конвейер, как справедливо заметил еще на первом собрании догадливый середняк Ахваткин: «Один больше сработает, другой меньше. Работа наша разная, это не возля станка на заводе стоять... Иван моих быков перегнал, а я его коней недоглядел... Тут надо милиции жить безысходно». Ну, если и не милиции, то уж бригадиру-надсмотрщику — определенно. Хотя и он зачастую оказывается в тупике: «Ничего не выходит! Осталося у меня к труду способных двадцать восемь человек, и энти не хотят работать, злодырничают. Никакой управы на них не найду... Как, скажи, они сроду за чапиги не держались! Пашут абы как. Гон пройдут, сядут курить, и не спихнешь их».

Ничего удивительного — люди не видят смысла выкладываться. Конечно, чтобы их подстегнуть, введут нормо-смены, тоже от корня начала сомнительные. И вот уже Атаманчуков пашет на дожде, ярмом протирая быкам шею до крови, а Майданников жалуется: «Он говорит: «Не мои быки, колхозные!» Атаманчуков оправдывается: «Мне надо норму выпахать, а ты мне препятствуешь... У хозяев нельзя, а в колхозе надо!.. план надо выполнять! Дождь не дождь, а паши».

Вот оно, любимое: план любой ценой. План — колхозникам, план — колхозу. И вскоре уже сам Давыдов слышит в свой адрес: «Вам лишь бы план вовремя выполнить, а там хучь травушка не расти. Дюже вам снилась наша скотинка, так я тебе и поверил! На провесне семена в Войсковой возили со станции — сколько быков по дороге легло костьми? Не счесть!.. Ты норовишь перед районным начальством выслужиться, районное — перед краевым, а мы за вас расплачивайся. А ты думаешь, что народ ничего не видит? Ты думаешь, народ слепой? Он видит, да куда же от вас, таких службистых, денешься! Тебя, к примеру, да и таких других, как ты, мы сместить с должности не можем? Нет! Вот вы и вытворяете, что вам на ум взбередет...» И хотя сказано это Устином Рыкалиным в ссоре, однако в его словах горькая правда, пусть и не вся она пока относится лично к Семену.

Где окриком приходится людей подстегивать, где командой, где наказанием,— иных стимулов на горизонте не видно. И такие становятся колхозники беспомощные, что Давыдова это выводит из себя: «Катися от меня к чертовой матери!.. Что это за привычка: чуть что — в правление. «Товарищ Давыдов, плуг сломался!», «Товарищ Давыдов, кобыла заболела!..» Когда вы научитесь собственную инициативу проявлять?» Никогда, Давыдов, не станут люди инициативными под таким сверхчутким детальным руководством!

А сколько развелось в колхозе бюрократизма, какое бумаготворчество! Пропал председатель! «По сути целые дни он тратил на разрешение обыденных, но необходимых хозяйственных вопросов: на проверку составляемых счетоводом отчетов и бесчисленных сводок, на выслушивание бригадирских докладов, на разбор различных заявлений колхозников, на производственные совещания,— словом, на все то, без чего немыслимо существование большого коллективного хозяйства». Так, может, и не нужно-то оно такое — «большое коллективное»?

Время идет, Давыдов барахтается в колхозном водовороте, по-прежнему не разбираясь в его механике. Но что до таких, как Кондрат Майданников, толковых и совестливых хозяев, то у них от всего этого колхозного беспорядка буквально сердце разрывается.

Майданников в романе фигура как бы парная Островнову. Они оба хозяева — по материальному достатку и по природной склонности, обоих Советская власть давила и обижала. Кондрата поменьше, поскольку с него меньше можно было взять. По-видимому, это последнее, а также красноармейское прошлое и романтическая натура толкнули его в решающий момент не к врагам Советской власти, а к большевистским мечтателям. Именно на примере Майданникова Шолохов показывает, насколько мучительна и бессмысленна эта жертва. Кондрат ночами не спит, думая об общественном, болея о нем, как о личном.

Так же как Нагульнов из чисто идейных соображений изуродовал себе жизнь, Кондрат Майданников будет по той же причине мучиться в тисках колхозной системы, но служить ей верой и правдой. Но дед Щукарь, которому под предлогом его придурковатости Шолохов позволяет среди чепухи изрекать иногда сермяжную правду, разоблачит-таки Кондрата: «Он мелкий собственник и больше вы из него ничего не выжмете, хучь под прессу его кладите! Макуха... из него выйдет, а коммунист — ни за что на свете!» И то правда, никогда не перековаться Майданникову согласно манифесту в просто наемного сельскохозяйственного работника, быть ему до смерти хозяином и за то страдать. Он и сам это понимает, но вот что трагичнее всего — великое достоинство считает непростительной слабостью: «Я зараз в колхозе, а об своем добре хвораю... Раз я ишо не отрешился от собственности, значит, мне и в партии не дозволяет совесть быть». Бедный Кондрат, заморочили человеку голову идейные бойцы — не от собственности он не отрешился, а от совести. Вот когда такие, как он, и крестьянской совести лишатся, тогда все — это и будет «развитой социализм».

В деревне замечательные качества Майданниковых останутся невостребованными, и жизнь будет одного за другим выталкивать талантливых людей в город. Незавидна даже исключительно редкостная судьба конкретного Кондрата Майданникова, выбившегося в председатели колхоза. Суждено ему все с тем же пылом и с тем же малым результатом сражаться с бюрократической районной машиной, охраняя колхоз от чиновничьей глупости и произвола. И будет он балансировать, грубо говоря, между орденом и тюрьмой.

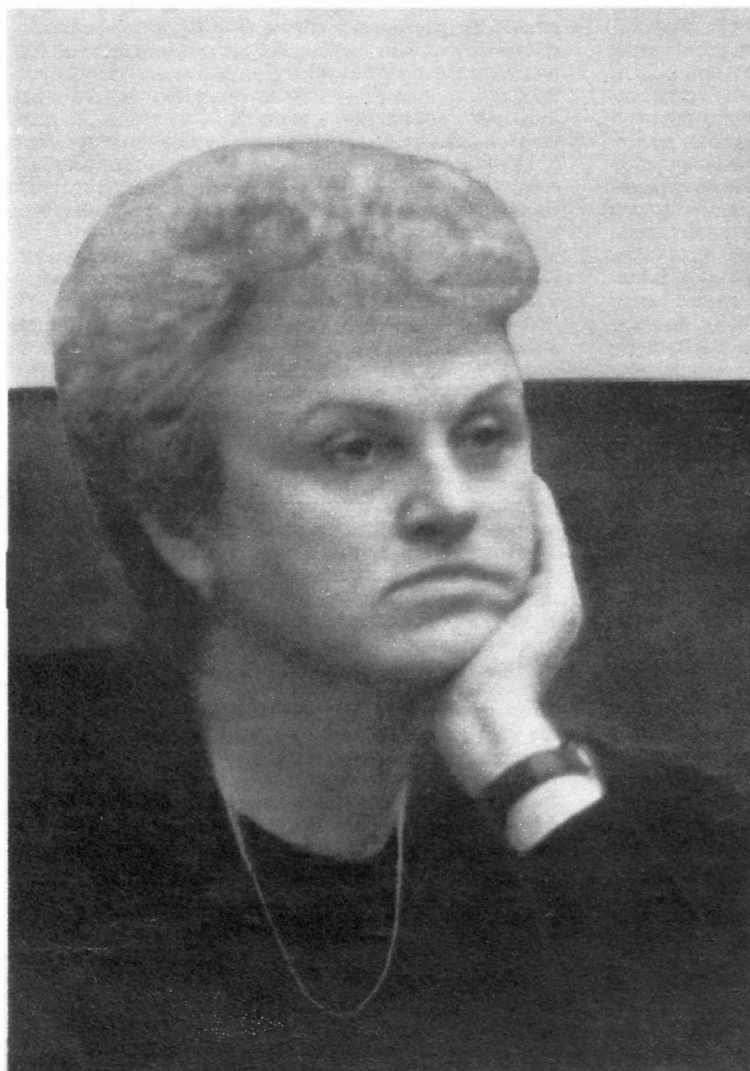
...Теперь о горе-повстанцах. В том, что руководители так называемого «Союза освобождения Дона» — авантюристы, а вся их затея не стоит выеденного яйца, Шолохов не сомневается ни минуты. Советская власть, мощная всеподавляющая система, какой она предстает в «Поднятой целине», не могла быть свергнута изнутри. Трезвомыслящий одноглазый подпоручик (кстати, глаз ему некогда на допросе выбил ударом кулака чекист) с самого начала понимает, что «шансов на победу прискорбно мало... Одна сотая процента, не более!» Действительно, когда дошло до дела, оказалось, что у Половцева, не первый год вербующего казаков, всего-то около двухсот активных штыков или сабель.

Последнее перед восстанием совещание заговорщиков, описанное откровенно фельетонными красками, подошло к концу. Пути назад нет, адская машина запущена. Именно в этот момент, подчеркивая ничтожность происходящего, невсамделишность надвигающейся катастрофы, Шолохов неожиданно сообщает на полном серьезе: «И еще одно трагическое происшествие случилось в этот день: в колодце утонул козел Трофим...» Для системы угроза вооруженного восстания Половцевых так же несущественна, как для хутора — гибель старого козла.

Еще менее вероятно, чтобы «Союз освобождения Дона» — как мощная разветвленная политическая контрреволюционная организация, корни которой тянулись бы в Москву и достигали зарубежья,— был в действительности возможен, а не возник, как пропагандистский миф наподобие пресловутой Промпартии.

Но то, что Советская власть не спустила непокорным и вслед за несостоявшимся мятежом «широкой волною прокатились по Азово-Черноморскому краю аресты», уже не мифы, а реальность. Как подлинна и трагедия, разыгравшаяся в последующие годы на Дону, когда волны кровавых расправ и неслыханных репрессий обрушились на взроптавших крестьян. Однако уже из «Поднятой целины» совершенно очевидно, что недовольство хлеборобов не несло в себе никакой самостоятельной политической идеи и произрастало целиком из неприятия варварской бездумной экономической политики. Очевидно, что не обстоятельства, а она сама, система, изначально виновата, порочна, дефективна и что, если и дальше вокруг будет тишь да благодать, все равно на этой бездарной безрадостной почве путного ничего не вырастет.

...Оказался жертвой системы и роман Михаила Шолохова. Теперь, наконец, хочется верить — «Поднятая целина» обретет настоящего читателя, который ее поймет, по достоинству оценит и реабилитирует.



НЕИЗВЕСТНАЯ КАЗИМЕРА ПРУНСКЕНЕ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЛИТВЫ КАЗИМЕРА ПРУНСКЕНЕ ДАЕТ ИНТЕРВЬЮ ИЗВЕСТНОМУ ЭСТОНСКОМУ ЖУРНАЛИСТУ УРМАСУ ОТТУ.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВИДЕОПРИЛОЖЕНИЯ К ЖУРНАЛУ «ОГОНЕК»

«Огонек» представляет вашему вниманию фрагмент этого знакомства. Все остальное вы сможете увидеть и услышать, если приобретете выпуск «Огонек-Видео» № 4 за этот год.

— Госпожа Прунскене, мне кажется, что хорошее настроение не покидает вас никогда. Даже сейчас, когда мы начинаем это интервью и у вас уже позади очень сложное собрание, где обсуждались вопросы, связанные с литовской блокадой.

— Да, это так. Такие заседания проходят каждый день. В течение часа мы оцениваем ситуацию на сегодня. Рассматриваем, сколько и как мы будем жить, в каких отраслях какая ситуация.

— Сегодня первое июня, сколько еще будет держаться Литва?

— Смотря в каком смысле «держаться»? Если речь идет о позиции независимости, конечно, Литва держится и будет держаться. Но совсем другое дело, в каком состоянии будет находиться хозяйство. Крупная промышленность, энергетика сейчас функционируют на грани риска. От тепловой энергетики зависит гарантия атомной электростанции. АЭС дает сейчас основную часть энергии.

— Вероятно, в Вильнюсе существуют какие-то ограничения? Я прилетел вчера вечером, и город не показался мне таким светлым, как обычно.

— В самом деле, основные потребности сферы гуманитарной — больниц, детских садов, быта — мы стараемся удовлетворить. А на все остальное давно введен лимит. Сейчас мы получаем в среднем в республике примерно около 30—40% от бывшего количества грузов, тем не менее и для этого тоже нужны транспорт и топливо, которые мы не получаем с 18 апреля.

— Госпожа Прунскене, ваш кабинет министров единодушно поддерживает вашу линию на выживание в этих жестких экономических условиях. Или в кабинете министров у вас есть оппозиция?

— В кабинете министров мы довольно едины. Он был создан совершенно недавно. Я сама представляла и своих заместителей, и министров. Хочу отметить отдельно моего заместителя Бразаускаса, которого знают в Союзе как первого секретаря Коммунистической партии Литвы. И как одного из претендентов на высшие места в руководстве республики. Он прекрасно вник в свою новую работу. Это его сфера, он хорошо знает промышленность, хорошо знает энергетику и экономику. И сейчас очень много усилий прилагает к тому, чтобы преодолеть блокаду наиболее оптимальным образом.

— Мне кажется, что Альгирдас Бразаускас в жизни и в течение своей карьеры привык играть главные роли. Как он чувствует себя в нынешней ситуации?

— Я думаю, что у него одна из главных ролей. А сейчас, во время экономической блокады, его роль очень значительна. И мы попросту с ним не конкурируем. Мы совмещаем наши возможности, наш потенциал. И мне кажется, прибавляя еще и другого заместителя, наша тройка работает очень удачно. И главное, дружно.

— Бразаускас до сих пор член Коммунистической партии?

— Не только, но и еще первый секретарь Коммунистической партии Литвы.

— Значит, он все равно верит в коммунистическое будущее Литвы?

— Это не совсем так. Я думаю, что понятие «коммунистическое будущее» звучит как-то совершенно отвлеченно от понимания сегодняшней ситуации. Мне кажется, что Литовская коммунистическая партия, я имею в виду самостоятельную, не зависимую от КПСС, более основана на социал-демократических идеях по своей программе. И мне кажется, что дело идет к тому, чтобы изменить название партии.

— Общается ли Бразаускас сейчас с Горбачевым?

— Я думаю, что очень ограниченно из-за той напряженности общеполитической ситуации во взаимоотношениях Литвы и СССР. И, как мне известно, в последние недели таких общений вообще не было. Хотя как секретарь он свободен в своих действиях. И как секретарь Компартии он, естественно, может общаться с Коммунистической партией Советского Союза. Это его роль, его право. Мы создаем демократическое общество. И в этой сфере политической свободы не следует ни препятствовать, ни следить с особой бдительностью за кем-либо. Тем не менее, что касается правительства Литвы и взаимоотношений, то, кроме меня, с конца февраля с Президентом Горбачевым никто не встречался.

— Общаетесь ли вы со своими коллегами? С господином Ландсбергисом, господином Бразаускасом вне каких-то официальных, профессиональных дел. В чисто человеческом плане?

— Сейчас очень мало времени для этого. Конечно, у нас, особенно с Ландсбергисом, часто бывают беседы. И это неофициальные беседы, которые не выносятся на прессу. Обсуждаем ситуацию, какие-то моменты, когда надо поговорить вдвоем. И до сих пор в основном мы находим общий язык. Я, например, не склонна что-то скрывать и прямо выкладываю свое мнение. Нравится это или нет. Думаю, что это всегда помогает уйти от каких-то последующих недоразумений. И такого рода позицию, я думаю, буду сохранять и дальше. А что касается других коллег, то мы часто пьем кофе вместе. Я ввела такую традицию. Может быть, не стоило об этом говорить, но когда мы уже сформировали правительство, в первый же день я пригласила всех членов правительства в наш зал, где после обеда в отдельной комнате за длинным большим столом члены правительства и некоторые директора департаментов могли бы обменяться какими-то вопросами. И по крайней мере иметь возможность глядеть друг на друга не обязательно за столом заседаний или в кабинетах.

— Госпожа Прунскене, кофе сейчас в Литве имеется только у членов правительства или кофе есть для всех?

— К сожалению, кофе очень мало в республике. В определенных магазинах, где коммерческие цены, кофе есть. Мы с трудом его сейчас получаем. В список товаров, которые не поставляются, входит все импортное продовольствие. Хотя зерно в обмен на мясо мы еще получаем.

— А в Литве кофе пока еще не растет?

— К сожалению.

— Госпожа Прунскене, чувствуете ли вы лично и ваш кабинет министров себя более уверенно после избрания Председателем Верховного Совета РСФСР господина Ельцина?

— Да, и эта уверенность заключается именно в том, что выбор Ельцина означает победу демократических сил в РСФСР. И те намерения, которые высказывает господин Ельцин, дают нам повод предполагать, что у нас могут формироваться партнерские отношения на основе взаимопонимания и без санкций.

— И вы уверены на фоне нашей прославленной истории, что господин Ельцин не может изменить свой курс, тем более сейчас, когда он имеет реальную власть?

— Я хотела бы верить, что этого не произойдет. Но всегда вера должна подтверждаться конкретными мотивами, о которых мы узнаем тогда, когда будем вести прямую беседу о нашем сотрудничестве.

— Вы лично верите в феномен Ельцина, в его реальную силу?

— Сила подтверждается тем, что он выиграл. Но с оценками не буду спешить. Надо посмотреть, какое правительство будет сформировано.



— Вы живете в Прибалтике. Россия немного отличается от Прибалтики по ряду разных причин. Верите ли вы лично, не только как политик, а в чисто человеческом плане, что Россию вообще реально вытащить из той ситуации, в которой она находится?

— Я думаю, много надо сделать, чтобы это сдвинулось в лучшую сторону. Конечно, необходима децентрализация власти не только в масштабе Союза, но и в масштабе России. Если Ельцин начнет централизовать все решения руководства экономикой в масштабах России, это ни к чему не приведет. Нужна локализация в решениях проблем. На этом основывается прежний этап достижения экономической самостоятельности трех маленьких Прибалтийских республик. Но он мог бы действовать и в условиях большой России, потому что существует огромный процент социализации и такое отсутствие местной инициативы, конкретных связей между местными предприятиями, что для того, чтобы активизировать процесс, нужно еще очень много перестроить.

— История показывает, что все те общества, которые имели хоть какие-то эпизодические отношения с коммунизмом, хотят от этого избавиться и никогда к этому не возвращаться. Сейчас мы с вами находимся в Литовской республике, хотя все равно Литва очень тесно попрежнему связана с Советским Союзом. Если будет реальная настоящая свобода Литвы, предвидите ли вы, что Литва самостоятельная может быть коммунистической?

— Нет. Тогда ее будет многое сковывать. Вряд ли сейчас какая-либо из политических сил пойдет на это. Не вижу такой опасности для Литвы. Новый поворот на светлое коммунистическое будущее? Сейчас возвращаются подлинные ценности, поворот на экономику, основанную на рынке, на умеренную роль государственного управления, лишь для того, чтобы придать экономике социальную направленность.

— Не знаю, являетесь ли вы сейчас членом Коммунистической партии?

— Уже нет.

— Когда вы почувствовали разочарование в коммунизме?

— Я думаю, что у меня всегда были критическая оценка и сомнения. Но особенно, когда начала общаться с внешним миром, примерно с 1981 года. Это было сотрудничество очень интенсивное с Венгрией, ФРГ. Многократные командировки были возможны только тогда, когда у меня в кармане был партийный билет. И тогда я еще более критически смогла посмотреть со стороны и начала определять в теоретическом плане выводы. Отчего не функционирует советская экономика? И к какой экономике мы просто обязаны переходить, чтобы не разрушить наше общество? Это все было гораздо раньше, чем к власти пришел новый Генеральный секретарь Горбачев. И я очень приветствовала тогда этот поворот, и как раз с тех времен у меня появилась возможность реализовать уже созревшие идеи и очень быстро написать докторскую диссертацию.

— А какой была тема вашей докторской диссертации?

— «Структура и экономика продовольственного хозяйства» в понимании «от земли до стола», но это макроэкономика — это модель, которую нетрудно расширить до всего хозяйства. Я защитила ее в 1986 году.

— Какими иностранными языками вы владеете?

— Я почти свободно говорю по-немецки, веду беседы и выступаю по-немецки. Немного говорю по-португальски, так как мои родственники живут в Бразилии и я бываю у них. Немного говорю по-польски, и, конечно, знаю литовский и русский. Литовский — это роскошь для меня. На нем я могу найти те выражения, которые отражают более точно, что хочу сказать.

— Думаю вряд ли стоит скрывать, что ваш недавний вояж по ряду стран Запада в Москве у некоторых вызвал чувство глубокого удовольствия и удовлетворенности. Я имею в виду то, что в советской прессе можно было прочитать, что на Западе не очень-то поддерживают стремление Литовской республики. Что же было на самом деле?

— Да, в прессе было скорее спецпреподнесение того, что хотят видеть. Я поняла, что нас поддерживает не только общественность, но и парламентарии, сенаторы, конгрессмены США и других государств. Это однозначно. Были очень редкие отдельные случаи, когда кто-то занимал критическую позицию. С сомнением, с опасением рассуждали о том, что произойдет в Советском Союзе или с Президентом Горбачевым, когда Литва станет независимой. Что же касается официальных лиц и руководителей, то надо понять, что существует определенная этика поведения между двумя крупными государствами — СССР и США. И одно дело — поддерживать Литву, и другое — как относиться к руководителям Советского Союза. Я нашла там достаточную меру поддержки и конкретного соучастия в решении вопроса Литвы в позитивном плане. Существует подталкивание обеих сторон. И, конечно, другую сторону приходится активизировать куда больше на начало переговоров и на ориентацию позитивного решения вопроса. То есть путем переговоров прийти к компромиссу и закреплению реальной независимости Литвы. Это я могу подтвердить однозначно. Так было во всех государствах, где я была и встречалась с главами государств.

— Вы согласны, что именно во многом трудности были связаны с тем, что за рубежом существует преувеличенный имидж Советского Союза и хорошего руководителя Горбачева?

— Я не выходила на трибуны Запада, чтобы этот имидж каким-либо образом компрометировать. Я просто пыталась представить естественные процессы, и как я оцениваю их. Я пыталась смотреть не только с позиции Литвы, но старалась искать оценки, видя треугольник Литва — Советский Союз — Мир.

— Чувствуете ли вы себя в Москве иностранкой?

— Я не чувствую себя иностранкой в Москве. Но все-таки не настолько уютно, насколько бы хотелось иногда. Хотя Москва очень дружелюбна, но очень бы хотелось, чтобы мы не только с демократической Москвой, а и со всей демократической Россией наладили отношения без экономической блокады и прочего рода каких-то недоразумений.

— Есть ли оппозиция Ландсбергису и вам внутри литовского народа?

— Безусловно, есть определенная оппозиция со стороны тех, кто не желает независимой Литвы. А курс на независимость эти силы связывают с именем Ландсбергиса как Председателя Верховного Совета, который провозгласил этот акт о независимости. Есть упреки и выступления против него. Относительно меня тоже имеется оппозиция. Но, может быть, все-таки меньше, потому что мне не трудно выслушать и объясниться с людьми инакомыслящими. В последнее время я общалась с представителями других политических сил. Мы даже приняли постановление правительства в связи с тем, что мы стремимся начать переговоры, активизировать наши отношения с теми политическими силами, которые создают это напряжение и представляют интересы Советского Союза. Недавно встречалась с группой, которая представляет интересы русских на нефтеперерабатывающих предприятиях. Это не такая сильная оппозиция, но они представляют особый интерес. Этих людей нужно выслушать. Для того чтобы решить, как можно снять это напряжение, необходимо нормализовать ситуацию таким образом, чтобы к началу переговоров можно было смотреть на другую сторону как на партнера.

— Какие, на ваш взгляд, есть в вашем характере отрицательные черты?

— Я думаю, что иногда — это быстрое реагирование на отрицательные факторы. Я поддаюсь на эти отрицательные эмоции, когда есть враждебная окружающая среда. Сейчас я в большинстве случаев сдерживаю себя и контролирую. И как мне кажется, по сравнению с прошлым, сейчас, после определенной работы над собой, мне это удается.

— Вы премьер-министр Литвы. Это пик вашей политической карьеры, или ваш звездный час еще впереди?

— Я никогда не думала об этом. И вполне довольна той сферой, которая сейчас отнесена к моей компетенции. Но есть два условия для нормальной работы. Первое — это нормальные возможности внешних связей с Востоком и Западом, СССР и другими государствами, устранение изоляции. Второе — ясное разделение компетенции для правительства и для Верховного Совета, чтобы отдельный депутат или член Президиума не переходил на управление членами правительства. Думаю, что сейчас, когда мы приобретаем опыт парламентской работы, этот период неизбежен. И в будущем эти несоответствия мы преодолеем.

— Как вам кажется, лучшие времена для Литвы позади или впереди?

— Конечно, впереди. Нам предсказывают большое будущее, учитывая наше геополитическое положение, учитывая новые возможности для взаимоотношений Востока и Запада. Если политические отношения наладятся, то развитие Литвы будет одновременно фактором активизации развития наших восточных соседей, которые сейчас не очень дружелюбно относятся к нам.

— В России некоторые считают, что в Литве не любят русских.

— Я не могу с этим согласиться. В Литве не любят пришедшего из России централизма и коммунистической идеологии. Это так. Но что Литва враждебна к русским? В Литве русские всегда себя уютно чувствовали, даже в эти трудные годы. Мы имеем староверов, которые в Литве живут уже много столетий, и до сих пор сохранили себя, как русские староверы. У меня масса друзей разных национальностей. Может быть, сейчас мне литовцы близки в понимании основной цели, к которой мы стремимся, и в этом плане не всегда русские нас понимают. Я получаю много писем. Больше от русских из России, чем от литовцев. В них выражается большая поддержка. Редко бывают письма с упреками. Говорят: держитесь! Осуждают экономическую блокаду и тех, кто ее начал.

Вы ознакомились с небольшим фрагментом телевизионного знакомства «Казимера Прунскене дает интервью Урмасу Отту» специально для видеоприложения «Огонек-Видео», а о том:

— насколько раскованно чувствует себя Казимера Прунскене в деловых зарубежных поездках,

— как она относится к недавней встрече в верхах Михаила Горбачева и Джорджа Буша,

— какое влияние оказала на премьер-министра Литвы «железная леди» Англии — Маргарет Тэтчер,

— каковы финансовые условия госпожи Прунскене на Западе,

— какие духи она предпочитает,

— кто обслуживает и охраняет премьер-министра Литвы,

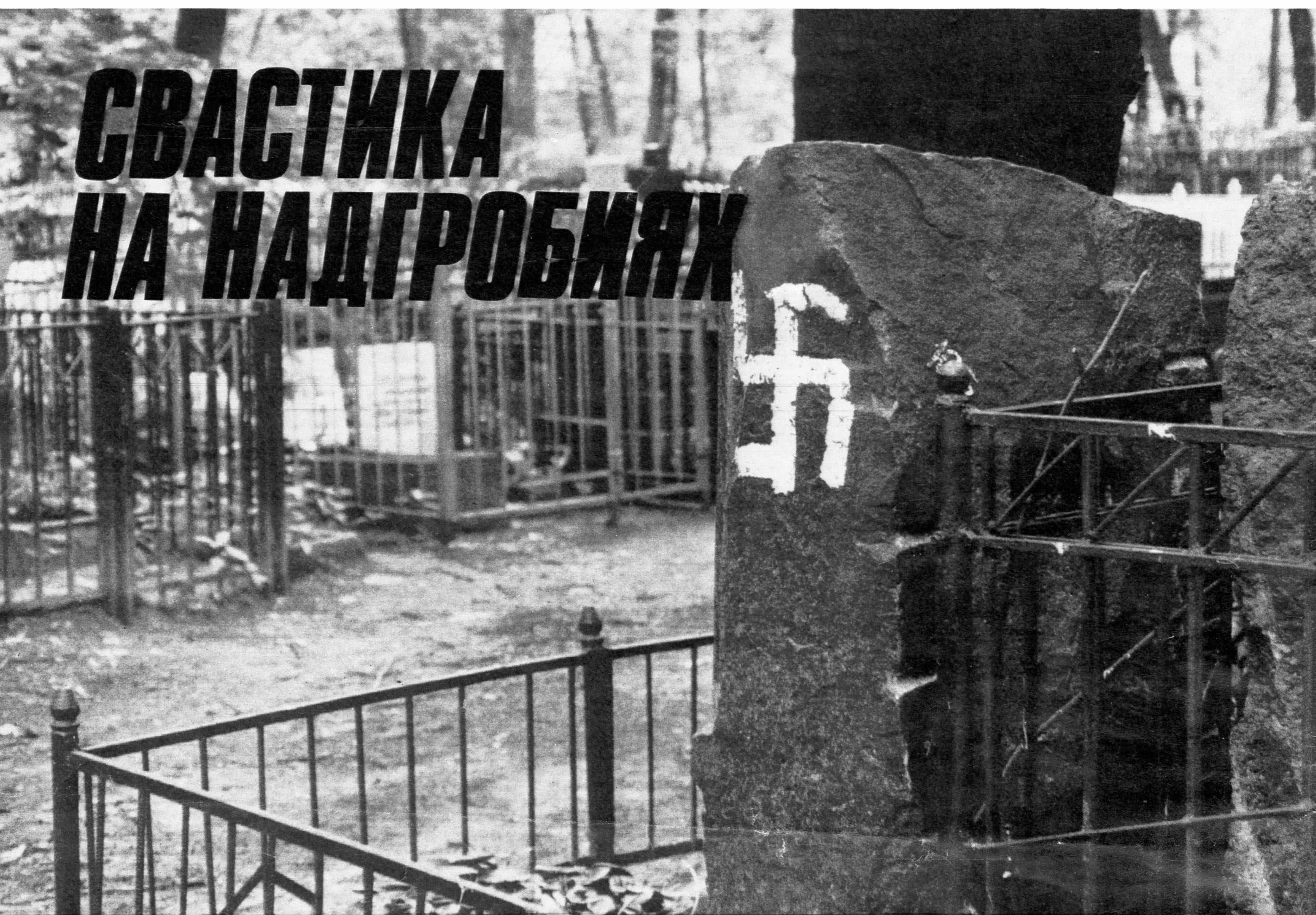
— как она оценивает Бориса Ельцина — нового Председателя Верховного Совета РСФСР,

— что ждет госпожа Прунскене от будущего.

Об этом и многом другом вы узнаете, если приобретете выпуск «Огонек-Видео» № 4 за этот год.

Напоминаем, что заявки на приобретение этой видеокассеты, а также видеовыпусков №№ 1, 2, 3 за этот год и выпусков «Огонек-Видео» за прошлый год принимаются по адресу: 117313, Москва, аб. ящик 843, тел. 212-15-79.

Фото А. ГОСТЕВА и В. РЕМИНА



СВАСТИКА НА НАДГРОБИЯХ

Вот уже год мой маршрут по Ваганьковскому кладбищу неизменен. Мимо цветов у могилы Высоцкого — к цветам, принесенным Есенину, затем по его аллее — к перекрестку с Липовой. Рядом с черным камнем над холмиком, где покоится землеволец Дмитрий Клеменц, мой тупик, пути дальше нет.

Тут тяжелый белый камень, привезенный мною с Псковщины, с берега ледникового озера. Под ним лежит мой сын, сержант, оставшийся живым в Афганистане, убитый подонками в Москве, журналист, навсегда для меня 26-летний.

Лев Толстой советовал: почаще навещайте кладбище — имея в виду возможность, отрешившись от суеты, задуматься над смыслом бытия. Я не следовал его совету, пока не возник этот белый камень на моем пути.

И каждый раз, проходя обратным маршрутом — в сторону проступающих среди ветвей крестов церкви, где я ставлю свечку «за упокой»,— я как бы возвращаюсь в жизнь, чтобы жить за двоих. Откуда-то берутся силы, словно сын, провожая меня взглядом, смотрит мне в спину.

Так было и в тот день. На Москву обрушился мощный ливень. Я пришел, потрогал лист молодого клена, выросшего между Володей и Дмитрием Клеменцем (поразительно: сын защитил диплом по народовольцам!), повернулся, чтобы возвращаться, и остолбенел.

Напротив, на мраморе памятника, под которым похоронена еврейка, родившаяся еще в прошлом веке, зловеще белел фашистский крест.

Намалевано было грубо, но без поспешности, о чем свидетельствовала еще одна свастика, образованная из стертых и оставленных букв еврейской фамилии,— так, чтобы символ воспринимался на расстоянии. Работали неторопливо, старательно, было время.

Не отстаем мы от Парижа! В вульгарности, в крайней низости наши мерзавцы не уступают европейским. Свастики в Духов день служители кладбища соскребали со многих еврейских надгробий. Никто из них не мог припомнить такого, чувствовалась растерянность. Люди, профессионально связанные с горем, не находили слов, переживая чужую беду как собственную.

Стыдно признаться, но в первый миг я эгоистично отметил — в миллиардную долю секунды,— что я: русский! И над белым камнем, под которым и мне лежать, русская фамилия. Но уже в следующую миллиардную долю секунды жгучий стыд залил холодное, рассудочное умозаключение: я — русский!!!

Но кто же тогда они — эти ублюдки? Кто они — национал ли патриоты из «Памяти» или просто опустившиеся алкоголики, готовые за полстакана влаги продать родную мать, готовые надругаться над надгробием любого человека с нерусской фамилией?

Кто посягнул на священную неприкосновенность могил — священную у всех народов? Какая группа, какая партия, какой блок возьмет на себя ответственность за содеянное — проявитесь! Сообщите — если вы, претендующие на право распоряжаться судьбой России, способны выйти из тени,— чья рука нарушила покой мертвых?

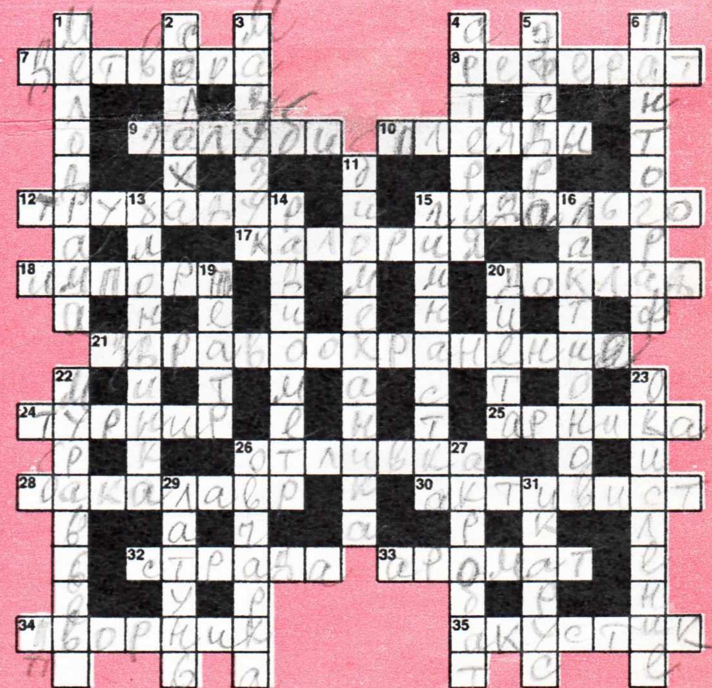
Не сообщат, не выйдут, ударят из-за угла.

Тяжек был мой обратный маршрут по Ваганьковскому кладбищу в тот влажный июньский вечер.

Владимир ГЛОТОВ
Фото Юрия ФЕКЛИСТОВА
и Эдуарда ЭТТИНГЕРА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Рассказ А. П. Чехова. 8. Краткое изложение научного труда. 9. Стихотворение в прозе И. С. Тургенева. 10. Звездное скопление в созвездии Тельца. 12. Опера Д. Верди. 15. Малая планета. 17. Единица количества теплоты. 18. Ввоз товаров из-за границы. 20. Публичное сообщение на определенную тему. 21. Система мероприятий по предупреждению и лечению болезней. 24. Спортивное соревнование по круговой системе. 25. Лекарственное травянистое растение. 26. Заготовка или деталь из расплавленного металла, стекла, пластмассы. 28. Первая ученая степень в зарубежных странах. 30. Деятельный член коллектива. 32. Напряженная работа в период косьбы, жатвы. 33. Приятный, душистый запах. 34. Устройство для механического вытирания смотрового стекла автомашины. 35. Работник, обслуживающий звукоулавливающие аппараты.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пьеса с острой интригой, преувеличенной эмоциональностью. 2. Персонаж повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». 3. Летчик, один из первых Героев Советского Союза. 4. Кровеносный сосуд. 5. Вечнозеленое лекарственное растение. 6. Токосъемник электровоза. 11. Раздел науки, изучающей физико-химические явления в организмах. 13. Белокурая женщина. 14. Прибор для измерения давления звукового излучения. 15. Спортсменка. 16. Советский живописец, автор картины «Письмо с фронта». 19. Род искусства, сценическое действие актеров перед публикой. 20. Рацион питания. 22. Жена декабриста, доставившая в Забайкалье «Послание в Сибирь» А. С. Пушкина. 23. Химическая реакция соединения вещества с кислородом. 26. Порода служебных собак. 27. Цирковой гимнаст. 29. Медный сплав. 31. Марка венгерского автобуса.



ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ в № 24

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Методология. 7. Каретка. 8. Кряква. 10. Чавыча. 12. Надир. 13. Куракo. 15. Пляска. 16. Гранада. 18. Дубна. 19. «Репка». 20. Розница. 21. Песок. 22. Поход. 24. Отличие. 27. Валиев. 29. Тугрик. 31. Джонс. 32. Золото. 34. Музкол. 35. Примула. 36. Потребитель.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Москва». 2. Тока. 3. Держава. 4. Летчица. 5. Грач. 6. Яровая. 9. Раунд. 11. Чукча. 14. Огарков. 15. Парапет. 17. Нанси. 21. Право. 23. Дриго. 25. Лежбище. 26. Чонгури. 28. Изотоп. 30. Газель. 33. Опыт. 34. Мане.

ОТДЕЛ АКУСТИЧЕСКИХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ АРЕНДНОГО МОСКОВСКОГО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «СПЕКТР» ПОМОЖЕТ ОСНАСТИТЬ ВАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СОВРЕМЕННЫМИ УЛЬТРАЗВУКОВЫМИ ПРИБОРАМИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ

Предлагаем вам следующие виды научно-технической продукции:

— ультразвуковые толщиномеры общего применения;
— ультразвуковые толщиномеры для контроля изделий с грубо обработанной и корродированной поверхностью;
— ультразвуковые автокалибрующиеся толщиномеры — измерители скорости звука;
— ультразвуковые толщиномеры с памятью на 500—1000 измерений;
— ультразвуковые толщиномеры для контроля изделий из композиционных материалов и пластмасс;
— компьютерные комплексы на базе персонального компьютера типа «IBM PC» и толщиномеров с памятью;
— прецизионные измерители скорости звука в материале изделия;
— ультразвуковые приборы контроля прочности строительных материалов.

Ваши предложения направляйте по адресу: 119048, г. Москва, ул. Усачева, 35, МНПО «Спектр». Отдел акустических и специализированных методов контроля и технической диагностики.
Для телеграмм: Москва, «ВЗОР»
Телетайп: 417804
Телефоны: 245-55-34
245-50-55

Ультразвуковые калибруемые толщиномеры помогут вам при одностороннем доступе измерить толщину или произвести инспекционный контроль изделий и объектов, изготовленных из различных металлов и сплавов, стекла, пластмасс и композиционных материалов. Диапазоны измеряемых толщин от 0,5 до 1000 мм, погрешность измерения не больше 1 % от измеряемой толщины.

Измерить толщину стенок и оценить техническое состояние объектов и конструкций, подверженных постоянному воздействию коррозионно-активных сред (многолетняя коррозия корпусов судов, трубопроводов, металлоконструкций и т. п.), помогут специализированные толщиномеры для контроля изделий с грубо обработанной и корродированной поверхностью. Диапазон измеряемых толщин от 1,5 до 100 мм, погрешность измерения — 1 % от измеряемой толщины.

Ультразвуковые автокалибрующиеся толщиномеры — НОВЫЙ КЛАСС ПРИБОРОВ, НЕ ИМЕЮЩИЙ АНАЛОГОВ НА МИРОВОМ РЫНКЕ. Такие толщиномеры не требуют предварительной калибровки по скорости звука на контрольных образцах, выполненных из материала изделия; позволяют контролировать изделия из неизвестных металлов, сплавов, некоторых типов пластмасс, стекол и керамики; позволяют автоматически измерять скорость звука в материале объекта контроля. Диапазон измеряемых толщин от 1 до 1000 мм, погрешность измерений — 1 % от измеряемой толщины.

Ультразвуковые толщиномеры с памятью и компьютерные комплексы помогут вам при снятии топограммы изменения толщины крупногабаритных и протяженных объектов, таких, как борта и днища судов, резервуары, трубопроводы и т. п. Программное обеспечение разрабатывается под конкретные требования заказчика.

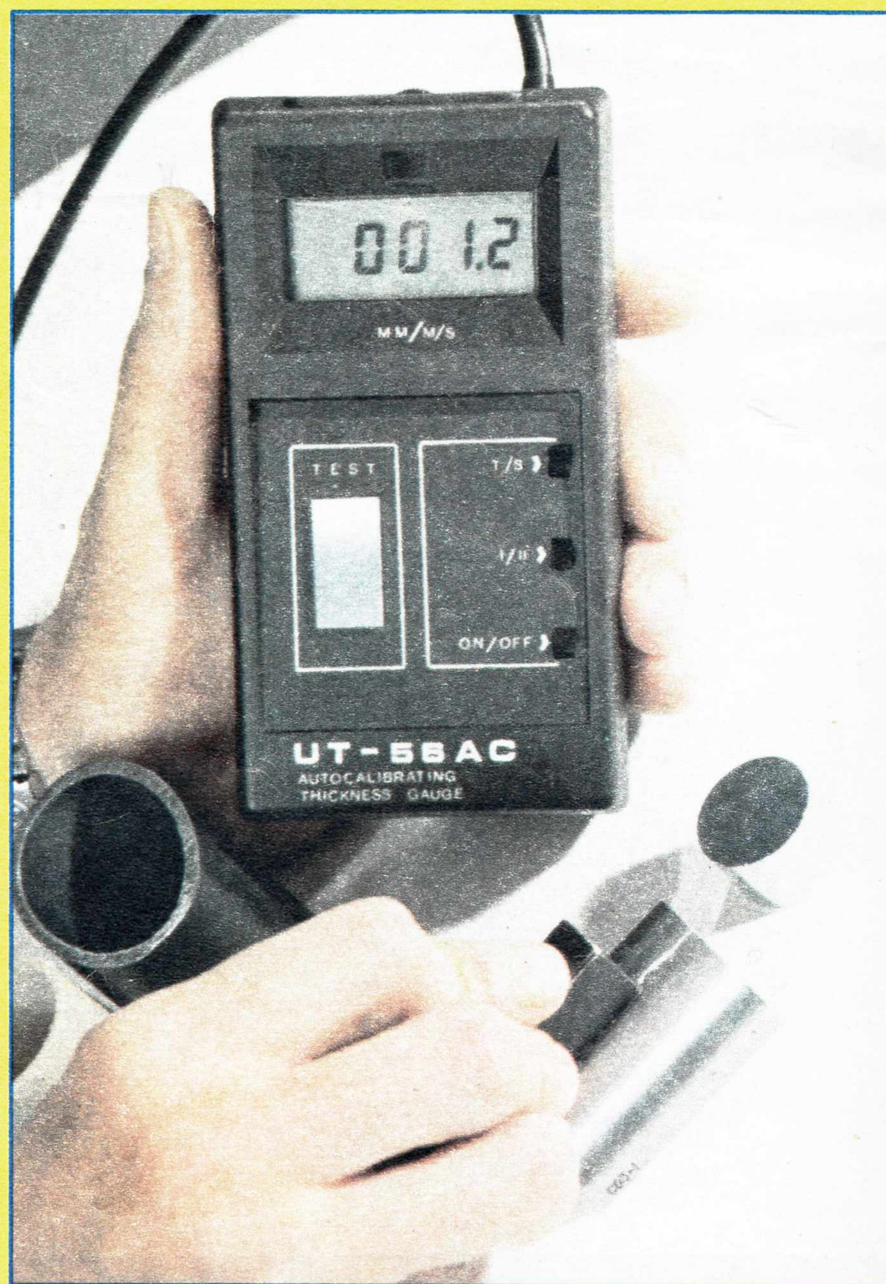
Прецизионные измерители скорости звука позволят идентифицировать материалы по скорости звука, определить некоторые физико-механические характеристики материалов изделий, оценить напряженное состояние металлической конструкции, определить качество термообработки, помочь в отработке технологического процесса. Диапазон измеряемых скоростей звука от 3000 до 10 000 м/с, погрешность измерений не больше 1 %.

Универсальные ультразвуковые низкочастотные приборы контроля прочности строительных материалов помогут вам оценить техническое состояние фундаментов зданий и сооружений посредством сквозного и поверхностного прозвучивания при «сухом» и «жидкостном» контакте датчиков прибора с поверхностью объекта контроля. При затруднительном использовании приборов с кабельной связью между датчиками и электронным блоком, например, при измерении крупногабаритных и протяженных объектов и сооружений или контроле стены между двумя изолированными друг от друга помещениями, могут быть использованы приборы с бескабельной связью, НЕ ИМЕЮЩИЕ АНАЛОГОВ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ.

Мы разработаем и изготовим специализированные приборы по вашим техническим требованиям, а также поможем решить нетрадиционные задачи неразрушающего контроля, такие, как измерение длины изделий до 5 и более метров при одностороннем доступе, и т. п.

Мы готовы поставить наши приборы и выполнить новые разработки по техническим требованиям заказчика. Сроки поставки приборов — от 1 до 3 месяцев; сроки выполнения новых разработок — от 3 до 6 месяцев.

Мы готовы сотрудничать с заинтересованными иностранными фирмами в разработке, серийном выпуске и продаже за свободно конвертируемую валюту как в СССР, так и на западном рынке ультразвуковых приборов неразрушающего контроля.



40 коп. Индекс 70663